От Тарусы до Чуны

Анатолий Тихонович Марченко

SHOUT
SHARE
IT

- Марченко Анатолий Тихонович
  - От автора
  -
  - Заключение
- notes
  - 1
  - 2
  - 3

Марченко Анатолий Тихонович
От Тарусы до Чуны

От автора

Выйдя в 1966 году из лагеря, я считал, что написать и предать гласности то, чему я был свидетелем, это мой гражданский долг. Так появилась книга «Мои показания».

Потом я решился попытать свои силы в художественном жанре. В пермских лагерях (1968–1971 годы) я задумал и спланировал повесть «Живи, как все» не о лагере вовсе, а о нонконформисте и его трагической судьбе. Я совершенно не могу судить об успешности или неуспешности моей попытки, так как черновые заготовки и наброски повести систематически поглощал Главный Архивариус КГБ во время тайных и явных обысков и в лагере, и на воле. Ради сохранности сбереженного от обысков черновика я не рискнул еще никому его показать. Поэтому пока единственными моими литературными экспертами стали работники КГБ, и вот их заключение: «…эти записи представляют собой черновики, которые могут послужить для написания антисоветских произведений».

Я не берусь за перо, ставя себе задачу написать «антисоветское» или «советское». Я пишу свое. Меня увлек мой замысел, судьба моего героя.

Тем временем моя собственная судьба рисует свой чертеж, и вот мне приходится отложить работу над повестью «Живи, как все». Где-то я читал наставление: если ты стал свидетелем стихийного бедствия, иностранного вторжения, порабощения и т. п., то запиши все, что увидишь или услышишь от других, это твой долг.

Снова долг заставляет меня свидетельствовать о том, что пока еще, по-моему, никто не рассказал, а мне довелось испытать на собственной шкуре. Так появился очерк «От Тарусы до Чуны».

Этот очерк не дневниковая запись. Он написан уже в ссылке, по памяти. Поэтому кое-что, вероятно, упущено. Некоторые «боковые» эпизоды я опустил специально; может быть, когда-нибудь вернусь к ним. Многое осмысливалось мною уже теперь, после событий.

25 февраля 1975 года

В милиции меня, как водится, обыскали. Изымать оказалось нечего: еще в декабре я отобрал для тюрьмы брюки поплоше, они сейчас были на мне, да теплый свитер, да телогрейка; с декабря же дома на вешалке висела авоська, а в ней пара белья, теплые

носки и рукавицы, мыло, паста и зубная щетка и все. Продукты мне не понадобятся. Взяли у меня только пустую авоську и выдали на нее квитанцию. Остальное со мной в камеру.

Но еще раньше стали заполнять протокол. Я назвал себя, а на прочие вопросы отвечать отказался. Дать отпечатки пальцев тоже отказался. Расписаться в какой-то казенной бумаге тоже. Я так решил заранее не участвовать ни в каких их формальных процедурах: раз в отношении меня совершается произвол и насилие, так пусть, по крайней мере, без моей помощи.

Понятой (с обыска) был настроен решительно:

Все равно даст отпечатки, не добром, так силой. Заковать его в наручники, и катай!

Милиционеры в дежурке возмущались и удивлялись:

Да мы тут при чем? К нам-то какие претензии?

Сколько раз я это уже слышал и сколько еще выслушаю!

Вот в дежурку вошел один из тех, кто еще недавно тоже был «ни при чем», мой «надзор» Кузиков. Не он устанавливал надзор, при чем тут он? А велено было и написал на меня ложный рапорт, и на суде еще даст ложные показания. Ему за это, может, благодарность в приказе, а мне лагерь… Кузиков остановился в двух шагах от меня, демонстративно вытащил из кармана маленький пистолет и… но я отвернулся и не видел, что он делал с пистолетом, только слышал, как он резко клацнул чем-то прямо над моим ухом. Вот дурак! Палец у него был в крови: пострадал герой во время «операции», когда силой волок нашу гостью в милицию. Гостью я тоже мельком увидел здесь, когда ее привели; мы едва успели кивнуть друг другу. Это, вероятно, моя последняя «вольная» встреча.

В камере я, слава Богу, один. Привычная обстановка, будто и не жил на воле. Бросаю телогрейку на нары: «одно крылышко подстелю, другим укроюсь».

Но уснул я нескоро. Хуже нет в камере вспоминать о доме, но попробуй-ка не думать. Во все предыдущие аресты было куда легче, я тогда был один. А теперь, чуть закрываю глаза, так живо, как наяву, представляется: вот Пашка утречком проснулся, встал на ножки в своей кровати и раскачивает ее изо всех сил. Смеется, зовет меня; он и ночью и утром только меня признает, мать спит в другой комнате. Я же его и уложил вечером, укачал на руках, пока шел обыск. Так и чувствую вес детской головенки у себя на плече. Как-то там жена управится с малышом и с домашними хлопотами? Мы заранее договорились, чтоб она сразу уезжала из Тарусы в Москву, там ей помогут родные и друзья; но все равно трудно будет, конечно.

Думал и о том, что ждет меня завтра. В Тарусе, ясно, не

оставят, да и суд могут назначить буквально через день, расследовать-то нечего, бумажки все уже давно готовы: нарушение № 1, нарушение № 2…

26 февраля

Утром меня разбудил грохот замка в двери. Почему-то все тюремные замки отпираются и запираются со страшным грохотом. Арестант-«декабрист», сопровождаемый дежурным по КПЗ, поставил на нары кружку кипятку и положил пайку хлеба:

Завтрак.

Я не принимаю пищи.

Объясняться с дежурным по этому поводу я не стал.

Часов около девяти меня снова подняли на выход. В дежурке отдали мое имущество авоську. Значит, увозят из Тарусы. Куда же? Из окна «воронка» (тарусский «воронок» микроавтобус, без боксов, с окном в редкой решетке; в нем нас двое: я да милиционер, а в кабине с шофером еще один, везет портфель) из окна хорошо видны были полюбившиеся мне старые улочки Тарусы, и я прощался с ними. Если поедем направо мимо автостанции то в Серпухов или, может, в Москву; налево и вверх дорога на Калугу. Ехать почти мимо дома, но его не видно за поворотом.

Машина повернула налево. Я чувствовал, уверен был, что Лариса где-то рядом. И даже не удивился, когда увидел ее. Она шла навстречу «воронку», мимо молочного магазина, и катила в саночках Пашку; его красная шубка, одна на всю Тарусу, заметна издали. Лариса тоже увидела «воронок», остановилась, напряженно всматриваясь. Машина поравнялась с ними, и я застучал в окно. Лариса взмахнула рукой, наклонилась что-то сказать Пашке и долго стояла, глядя вслед, пока «воронок» карабкался вверх по обледенелой улице.

Ну хоть будет знать, что в Тарусе меня уже нет. Съедемся ли мы снова все втроем? Когда? Где?

Знакомая дорога за два с половиной года не раз по ней проехал. Последний раз совсем недавно, в конце января, когда вызывали в областной ОВИР: мол, оформляйте документы на выезд. А перед тем там же уговаривали и угрожали: подавайте в Израиль, не то вас ждет суд и лагерь. Так оно и вышло.

Вот Петрищево здесь нам просто чудом удалось зацепиться после двух месяцев безуспешных поисков и попыток прописаться. Дальше Ферзиково сюда к судье вызывали Гинзбурга, тоже по поводу надзорного нарушения. Может, и меня на суд? Нет, белая

скульптура лось промелькнула в окне слева, мы едем дальше. Теперь уже точно в Калугу.

За дорогу я еще раз обдумал выбранную заранее позицию неучастия ни в каких формальностях. Какого черта? И я сам, и те «верхи», кто решил мою судьбу, и исполнители, приложившие к ней руку, все мы знаем, что дело не в надзоре, что суд будет липовый, по ложным показаниям, что вообще посадили не за то был, не был дома, а за то, что я, какой есть, не гожусь в этой стране, вечно я им поперек горла, а они мне. Так какого же черта мне вдруг стать послушным и шелковым теперь, за решеткой? Только из-за того, что я не на виду, не среди друзей? С другой стороны, как это противно и унизительно стычки по мелочам, стычки на каждом шагу, с надзирателем, тюремным чиновником, с любой мелкой сошкой; не с ними я воюю за себя, но через них; главных-то я не вижу.

Приехали. Ну, сейчас начнется.

Руки назад.

Нет, не возьму.

Подойди к столу, пальцы покатаем (т. е. снимем отпечатки).

Не дам.

Что-о?! Кто тебя будет спрашивать дашь, не дашь!

Делайте сами, насильно. Я вам не помощник, а помешать постараюсь.

В комнате, куда меня привели для этой процедуры, было несколько человек: фотограф-зэк и трое надзирателей. Один из них, толстый и добродушный на вид старшина, только что неторопливо рассказывавший какую-то историю, опомнился первым (сначала все они казались ошарашенными моей наглостью):

Ты, герой! Бока не ломаны? Умолять будешь… Закуем на всю железку, сам запросишься… Еще и этого понюхаешь, и он сунул мне под нос огромный железный ключ (у него в руках была целая связка).

Меня просто поразило, как мгновенно он переменился. Только что добродушный и шутливый рассказчик, сейчас он налился кровью, вены на толстой шее вздулись, он даже вскочил со стула. Он буквально шипел от ненависти, дрожал от желания немедленно расправиться со мной. Что я ему сделал оскорбил, обидел?

Остальные тоже возмущались и грозились. По телефону меж тем вызвали дежурного. Пришел молодой еще офицер, ему изложили ситуацию.

Это еще что за фокусы? обратился он ко мне.

Не фокусы. Такая вот форма протеста.

Протестуй на воле, а перед нами нечего. Нас ваши протесты не …бут. Будешь катать?

Нет.

Офицер приказал мне повернуться спиной и подать руки. Я подчинился, и он стал неуклюже надевать мне наручники. Потом проверил, туго ли они затянулись. Тут подскочил старшина и стал затягивать сам. Между делом он осыпал меня отборным матом, бил ключом в спину, а под конец, разведя мои руки за спиной, подпрыгнул и ударил коленом по цепочке между наручниками. Это он на совесть заковывал меня. У меня потемнело в глазах, показалось, что руки вырывают из плечей. К тому же я не мог устоять от удара такой туши и упал бы, конечно, но мне не дали упасть заботливые руки надзирателей. Несколько сильных ударов под бока кулаками и ключом в спину:

Стой смирно!

Когда я перестал шататься, прекратились и удары.

Следуй за мной, приказал офицер.

И мы пошли: впереди офицер, за ним я с закованными сзади руками, вплотную рядом со мной и сзади два надзирателя сержант и толстяк-старшина. До лестницы меня не били, только страшно материли и угрожали. А на лестничной площадке снова сильный удар ключом в спину чуть не сбил меня, и я привалился к поручням. Офицер обернулся на шум и внезапно резко ударил меня по ребрам, а второй раз ниже живота. Вот так меня спустили по лестнице, а там поволокли по коридору, пиная сапогами по ногам, колотя кулаками и ключом под бока, по спине, по животу. В коридоре нам навстречу попался майор (заместитель начальника тюрьмы, узнал я потом). Майор посторонился и дал нам пройти.

Меня втолкнули в бокс, напоследок швырнув на цементный пол, я еще и головой приложился. Вслед мне полетели телогрейка, шапка, носки.

Подняться с пола я не мог и даже не пытался переменить положение, так и лежал вниз лицом. Кисти рук я скоро совсем перестал ощущать, они онемели; но в плечах была страшная боль, я был уверен, что старшина выдернул мне правую руку из сустава. Потом я почувствовал и боль в ребрах (они болели еще недели две). Зато теперь моя позиция получила эмоциональное подкрепление: у меня появились «личные счеты» с моими тюремщиками.

Дверь открывается.

Ну как, будем пальцы катать?

Не поманивает.

Ну, лежи, лежи.

На третий или четвертый раз после дежурного вопроса-ответа с меня, к моему удивлению и радости, сняли наручники. Но подняться я смог нескоро. Погодя переполз на телогрейку, а еще отлежавшись, и сел. Ближе к вечеру любезность надзирателей разъяснилась: меня повели к следователю.

Следователь Дежурная. Наградит же Бог фамилией по должности! А у одного известного следователя КГБ фамилия и того почище Сыщиков.

Дежурная следовательша Тарусской прокуратуры. Ей лет тридцать пять сорок, лицо усталое, всегда озабоченное, совершенно невыразительное, без проблеска интереса к чему бы то ни было. И голос тусклый, без интонаций. Видно, что ее работа для нее утомительный источник зарплаты, и только. Вот приходится ездить к «подопечным» в Калугу, три часа в один конец, дорога русская, тряская, домой вовремя не вернешься, а дома семья… Это все как вырезано на ее унылом лице. Да и подопечные ее не сахар, должно быть. И я среди них из самых вредных: отнял и не вернул постановление на обыск, разговаривать отказываюсь, на вопросы не отвечаю, ни одну бумагу не подписываю. Но Дежурная не раздражается и не злится. Устало и равнодушно она что-то там сама пишет, произносит автоматически свои дежурные увещевания: «Ваша позиция вам только повредит… Вы нас не признаете но это ничего не изменит… Марченко! Вы меня слышите?»

Какие, собственно, у меня к этой Дежурной претензии? Она спокойна (от равнодушия), неназойлива, в ее бормотание действительно можно не вслушиваться, сиди и отдыхай после бокса. Пожалеть про себя, что ли, эту усталую замороченную женщину?

Каждое слово, записанное ею в моем деле, было продиктовано ей сверху (вероятно, КГБ). Даже на запросы жены о моем состоянии она не отвечала сразу бегала консультироваться. Даже самостоятельно отклонить ходатайство адвоката не решилась, в руки его не взяла, пока не получила инструкцию. Она-то отлично знала, что дело липовое, что показания Кузикова ложные. У нее был список свидетелей, опровергающих эти показания, ни одного не допросила. Зато ей подсунули лжесвидетеля Трубицына, и его показания она аккуратно включила в дело. Ни одной бумажки, изъятой на обыске, к делу не приобщила, все, не раскрывая, не глядя, передала в КГБ так сама и сказала. Нет, пожалуй, я был самым легким ее клиентом: ведь никакой ответственности, никакой личной инициативы, делай, что велят, и никто с тебя за это не спросит. А между прочим, чем она рисковала, если бы проявила элементарную

служебную добросовестность? Стоит эта Дежурная на низшей ступеньке служебной лестницы, на следующую не метит. И мается не от тряски дорог, а от непосильного для нее груза ответственности не перед совестью, а перед начальством.

Не мне ее жалеть руками этого ничтожества я оторван от семьи, от сына, брошен в тюрьму. Дальше меня подхватят другие такие же руки.

Меня поместили в роскошную камеру: тройник вместо общей, кровать вместо нар, постельные принадлежности матрац, подушка, одеяло, наволочка, наматрасник. Тишина и покой. Два сокамерника от подъема до отбоя режутся в шахматы и домино, ко мне не вяжутся.

В тюрьме время скорей идет, если ходить по камере; на ходу лучше и думается. Но тройник тесный, ходить негде. Да скоро мне это стало и трудно, начались головокружения. Больше лежу, если есть что читаю. Беда, что читать нечего. Из библиотеки выдают одну книжку на десять дней, значит, нам на камеру три книги. И не выберешь, сунет библиотекарша в кормушку пять-шесть книжек, три мы себе оставим, остальные она заберет. Библиотекарша была вольная, сволочная баба, на просьбы дать выбрать или оставить лишнюю книжку отвечала примерно так: «Вас сюда не книжки читать посадили» или «Всем давать не успеешь штаны надевать». Интересно, а что ответили бы высшие чины МВД те, кто придумал это тюремное ограничение: одна книжка на десять дней!

Три койки в камере размещены так: одна против двери, у подоконной стенки, две другие вдоль боковых стен, между ними узкий проход, едва-едва разойтись. Напротив меня мой тезка, Анатолий, мужик лет тридцати пяти сорока, ленинградец (сам себя он называл не иначе, как питерцем: «мы, питерцы», «у нас в Питере»). Он уголовник, карманник, не без основания считает себя опытным лагерником: восемь судимостей! А я-то думал, что специальность карманника уже отмерла. Койку под окном занимает калужанин Игорь, он выдает себя за инженера, а может, и есть инженер, не берусь судить. В лагере он не бывал, а под судом, говорит, второй раз. В первый раз судили за то, что ударил милиционера (говорит, пьяного, а сам, мол, трезвый был). Осудили на два года, но сразу же амнистировали. Оказывается, у нас сейчас ежегодно объявляется специальная амнистия для малосрочников с обязательной отработкой назначенного срока на стройках народного хозяйства; одна такая амнистия была как раз при мне, в марте, и в Перми я попал в камеру этих «амнистированных» (их называют «химиками», потому что большинство едет на стройки Большой химии), они ехали на

место, как и я, по этапу.

Сейчас Игорь сидит по обвинению в домашней краже: будто бы украл у родственницы триста рублей. Он утверждает, что не виноват, но в его рассказах концы с концами не сходятся. А может, и так, что спьяну взял деньги, спьяну спрятал их в пачку сигарет (где они и нашлись), а сам ничего этого не помнит. Грозит Игорю максимум три года, скорей всего снова амнистируют и отправят на «химию».

Сокамерники мужики в общежитии не вредные, а это главное.

Вот только одно…

Утром в кормушку подают три пайки хлеба. Одну мы каждый раз возвращаем, и ее уносят: в камере голодающий.

Но двое других принимают пищу.

Мои сокамерники завтракают в два приема. Первый завтрак казенный черпак каши съедает каждый у себя на койке. Примерно через час после этого устраивают второй завтрак из своих харчей. У питерца продукты из ларька, калужанин Игорь к этому получает еще и передачи. Едят они вместе, делятся.

Единственную в камере табуретку ставят в проходе между двумя койками, моей и питерца. Тезка сидит у себя, а Игорь устраивается на моей койке, прямо около подушки (я в это время лежу на своем месте некуда отойти, не на что сесть). На табуретке, буквально у меня под носом, раскладывают сало, колбасу, печенье, сахар и прочую дозволенную снедь. Чаевничают не торопясь, с трепом.

Еще демонстративнее они ужинают. Часов около пяти надзиратель забирает из камеры чайник и мои сокамерники сразу же «накрывают стол» к чаю. Снова перед моим носом на табуретке раскладывают харчи, а сами они в ожидании кипятка болтают или слушают радио. Чайник с кипятком возвращается в камеру минут через сорок, а то и через час, и тогда снова начинается долгое чаепитие.

Часа через два после этого приносят казенный ужин по миске супа. Часто мои сокамерники выливают суп в унитаз: не голодны. Зато перед самым отбоем снова пьют чай с «домашненьким», ритуал тот же.

Притом соседи не забывали и обо мне. Поначалу приглашали к своему столу (тезка, тертый лагерник, излагал свои взгляды на голодовку: пустая затея, с этим «они» сейчас не считаются, а себя угробишь). Поскольку я от приглашений отказывался, они перестали приставать. Зато стали втягивать меня в свои разговоры за чаем. Я не замечал у них ни малейшего смущения, никакой неловкости из-за того, что рядом с ними голодающий, а они тут же жрут сало и печенье (после суда, в другой камере,

сосед вел себя совсем иначе: старался есть, когда я сплю или читаю; видно было, что созданная администрацией обстановка ему больше в тягость, чем мне).

Так вот, что это было: издевательство? Нарочно им велено было дразнить мой аппетит? Жестокий способ сорвать голодовку? Или же этим типам, моим соседям, все было, по-лагерному, «до лампочки»? Может, и так. А все равно полагается содержать голодающих отдельно, и обычно их хоть не сразу, но изолируют. Надо сказать, чтобы если был расчет сорвать голодовку или хоть поиздеваться, то он провалился. (А был, наверное. Даже раз прокурор закинул удочку: «Ваша жена жалуется, что вас, голодающего, держат вместе с другими. Анатолий Тихонович, вас что, раздражает, когда они едят?» вопрос на втором месяце голодовки!). Ни вид, ни запах пищи, ни чавканье жующих ртов не возбуждали у меня чувство голода. Все пятьдесят четыре дня голодовки мне не хотелось есть, и я ни разу не глотал слюнки, глядя на поедаемые рядом сало или печенье. К моему удивлению, сокамерники вообще не вызывали у меня раздражения ни бесконечными шахматами, ни дурацкими пустыми разговорами, ни демонстративной жратвой. Раньше бывало иначе, и я теперь думал: видно, старость на подходе, вот я и стал терпимее. Но вскоре после того, как я снял голодовку, я заметил, что меня, как и в былые времена, сокамерники нередко раздражают.

Только однажды я позавидовал еде моих соседей: на обед ко второму им дали по соленому огурцу. Не то чтоб они возбудили у меня аппетит, чтоб мне вообще захотелось есть; нет, вот именно огурца захотелось. Казалось, я слышу, как зубы соседей с хрустом прокусывают кожицу; я ощущал во рту намек на вкус соленого огурца, его аромат, и это дразнило меня невероятно. Но слюну глотать и тут не пришлось: ее просто не было. Рот сводило от сухости, губы потрескались, и я с них скусывал или снимал пальцами полоски сухой кожи. Часто пил утром, даже нехотя, несколько глотков воды непременно.

А огурцы, видно, были неважные, мои сокамерники их и есть не стали: откусили по разу, и огурцы полетели в урну. У них часто и куски хлеба отправлялись туда же. Интересно: нарочно, мне напоказ? Может, в обед кинут пару кусков, а утром, опорожняя урну, проверят: все ли на месте? Но, честное слово, есть не хотелось ни в первые три, ни в первые пять дней (приходилось слышать, что они самые трудные), ни в последнюю неделю, ни в последний день голодовки.

Вообще я не могу сказать, что в какой-то период голодовки мои ощущения были особыми, иными, чем в предыдущие или последующие дни. Я не замечал никакой разницы между началом

голодовки и ее серединой, хоть это очевидная чушь: первый-то день какая же голодовка? Наверное, каждому случалось не есть и по дню, и по два. Слабость накапливается постепенно и прибывает незаметно день ото дня, так что сегодня чувствуешь себя так же, как вчера, завтра как сегодня. Конечно, у разных людей ощущения будут разные, может, кто-то другой точнее фиксирует изменения в своем состоянии и сумел бы определить переломные точки. Я же делю свою голодовку на три этапа по чисто внешним приметам: первый восемь дней до начала насильственного кормления; второй тридцать семь дней, когда мне насильно вводили пищу; третий последние восемь дней голодовки, в этапе, вновь без какого-либо питания.

4 марта

Начальник тюрьмы. Калужская тюрьма, в которую меня посадили, называется совсем не «тюрьма», а СИЗО следственный изолятор № 1. Название голубиное, но, конечно, тюрьма как тюрьма с боксами, зарешеченными окнами в «намордниках» и всем прочим, что в тюрьме полагается. Однако не без примет века НТР и дизайна: массивные ворота раздвигаются нажатием кнопки, особенно радикально переоборудована комната для свиданий: она перегорожена и разгорожена на клетки сплошным листовым стеклом, кабины снабжены переговорными устройствами (небось, и с подслушивающим аппаратом? Не валютой ли за все это плачено? Или уже сами научились?). Незабываемо сильное впечатление: когда из переговорной трубки до тебя вместо родного голоса доносится какое-то кваканье, чувствуешь себя прямо-таки в светлом будущем.

Проводник всех этих тюремных новшеств конечно же, сам начальник. Это заметно уже на подступах к его кабинету: вместо унылой серо-бурой масляной краски стены лестничной клетки выложены декоративным кафелем без какой-либо казенной симметрии, а как в современном молодежном кафе. Кабинет выглядит более строго: полированные панели темного дерева, большие светлые окна, слева от письменного стола мигает разноцветными огоньками пульт управления с телефонными трубками и микрофонами. Хозяин кабинета моложавый майор, гладко причесанный, свежевыбритый, в меру плотный, в меру деловитый, в меру любезный. На лацкане его кителя голубой вузовский ромбик (может, академия МВД, может, юридический институт, а может, и университет, я не знаю).

Надзиратель, который привел меня, испарился, и в кабинете

остались двое: з/к Марченко и начальник тюрьмы.

Я не просился к нему на прием, он сам меня вызвал сейчас узнаю, зачем. Впрочем, я был намерен держаться в соответствии с избранной позицией, то есть не отвечать на вопросы, не вступать в беседу. Но это не получилось. Майор сразу же взял тон беседы людей, отстаивающих каждый свою точку зрения, и я не устоял, вступил в дискуссию, прекрасно понимая ее бессмысленность. Собеседник казался таким искренним и к тому же так живо сочувствовал мне, готов был понять меня. А в ответ, конечно, ожидалось мое понимание, уважение и соответствующее мое поведение; но это ожидание не било в нос, не перло наружу. Майор излагал мне свою систему взглядов, из которой само собой логически выводилось, что я веду себя неразумно и неправильно, что в моем положении есть другие пути и выходы.

Конечно, это дикость не пустить человека встретить мать, навестить ребенка; этому нет оправдания. Он сам, мой собеседник, поступил бы на моем месте так же, как я.

В такой огромной и многонациональной стране, как наша, неудивительны случаи нарушения законности. Но согласитесь, Анатолий Тихонович, это же исключения! Очень редкие! И с ними борьба идет через печать, через органы контроля.

Вот, оказывается, чем мне надо заняться: писать, писать, жаловаться во все инстанции законность восторжествует, если, конечно, дело обстоит так, как я рассказываю. Зачем же на дикость отвечать дикостью, самоистязанием?..

Я вглядывался в собеседника в выражении его лица, в его тоне не было видно фальши, лицемерия, корыстного расчета. Передо мной сидел честный советский человек, верящий и знающий, что с произволом в нашей стране покончено навсегда. Вот он, начальник тюрьмы, может оставаться самим собой честным, порядочным, интеллигентным, и все обстоятельства этому содействуют, а не мешают. Сама служба такая, что прежде всего требует честности…

Анатолий Тихонович, с вами, видимо, допущена ошибка, но ваша неправильная позиция ее лишь усугубляет, а можно исправить.

Ведь не докажешь, что ошибки как раз нет, что задумана и осуществлена расправа, и закон тут только дырявая ширма, где через дырки просвечивают руки, дергающие за ниточки кукол-исполнителей. Кому же и на кого жаловаться?

По-вашему, Анатолий Тихонович, так вы один порядочный и принципиальный человек, а остальные двести сорок миллионов все трусливые марионетки? Но это неправда! У меня, например, один наивысший приказ закон, а наш закон не противоречит

самой человечной морали, наоборот, он перебирает на столе брошюры, инструкции, как бы демонстрируя мне абсолютную регламентированность своего поведения.

Хоть я и не собирался жаловаться, но тут снова не удержался:

Ладно, не будем обсуждать сами законы. Но вот меня тут у вас избили это вроде бы не разрешено вашими правилами. И не за буйство, не за драку… Неподчинение распоряжениям, кажется, должно наказываться иначе? А то вот я вам не доложился, войдя, а вы бы меня за это в морду. А «Правила» висят на стенке в камере и никак меня от такого произвола не ограждают.

Начальник тюрьмы не закричал: «Это ложь!» Он и не спешил с показным возмущением: «Да как они посмели!» Он деловито записал, когда избили, за что и как.

Но я не хочу никакого расследования, никакого возмездия. Это не жалоба, я сказал для примера…

Нет, нет! Мы не нуждаемся в вашем снисхождении. Сегодня же я проверю, и, если все подтвердится, виновные будут наказаны. (Это толстый старшина подтвердит, что бил меня ключом? Офицер сознается? И, между прочим, непохоже, чтобы для повстречавшегося нам майора эта сценка была в диковинку.)

Вот спрашивается: какого черта я вступаю в такие беседы? Ведь я знаю: искренним или фальшивым выглядит собеседник, тактичен он или хам, заводится с полоборота или проявляет терпимость, все равно все это ложь, ложь и лицемерие. Сегодня он со мной через стол беседует, а завтра прикажут накидает полный карцер таких, как я, своими руками передушит (а иной, держа нос по ветру, и без приказа проявит инициативу снизу). Вот именно «система взглядов», не сформированная самостоятельно, а заправленная в человека в готовом виде, превращает его в автомат: сменят пластинку и на выходе получают другие поступки. О чем же с ним спорить? А главное, ничего себе разговор «на равных» тюремщика и арестанта! Но в эти полтора-два часа я не чувствую разницы положений неужели покупаюсь на это мнимое равенство?

Ну а он, этот майор? Вызвал меня по поводу голодовки и дактилоскопии, а занесло куда: и про законность, и про эмиграцию, и в психологию ударился… Ведь не надеялся же он таким вот образом сразу обратить меня в свою веру, образумить. Думаю, что нет, он же не дурак. Наш разговор мог быть коротким, но этот деловой и, наверное, занятой человек битых два часа со мной языком трепал. Может, ему поговорить не с кем? Между прочим, какие у него могут быть знакомые? Коллеги? Но среди них столько тупиц, с кем только водку пить, а не разговаривать. А со стороны знакомые представляю себе: «Это Люсин муж, он

(шепотом) начальник тюрьмы…» Вряд ли калужская интеллигенция обрадуется такой компании. Значит, знакомые только из «своих». Но перед ними что же речи толкать про законность, смешно даже.

Вероятно, я для него вроде боксерской груши: отточить аргументацию, а может, и самоутвердиться.

Но, может, и я втягиваюсь в дискуссию по той же причине? Лариса потом говорила мне, что этот майор с первого раза был ей отвратителен, что уже от порога понесло на нее показухой и фальшью. А я-то после этой «дружеской» беседы почти поверил, что видел белую ворону, а в моей стройной картине мироздания (с основным тезисом «на собачьей должности собака») чуть было не образовалась брешь. Но пришлось арестанту Марченко и начальнику тюрьмы общаться и на формально-деловой почве…

7 марта

Медицина. Я был голодающий, и это обеспечило мне тесные контакты с медперсоналом во все время пребывания в Калуге. До начала насильственного кормления меня несколько раз вызывали в медкабинет, осматривали, мерили давление, температуру. За сорок пять дней несколько раз брали кровь на анализ. Я в медчасть не обращался (кроме одного раза, незадолго до суда), но от обследования не отказывался. Я только сказал врачу, что не буду сообщать о своем состоянии, связанном с голодовкой; если надо пусть сами исследуют, сами применяют свои меры.

Врач, немолодая, приятная в обращении женщина, была возмущена: «Медицина никакого отношения не имеет к вашим неприятностям, мы здесь затем, чтобы помогать людям, ваш протест в данном случае направлен не по адресу».

Да я и не имею ничего ни против медицины, ни против вас лично.

Тогда в чем же дело? Почему вы отказываетесь от контактов с нами?

Этого я не мог объяснить; не знаю, сумею ли сейчас вразумительно объяснить свое поведение. Оно, действительно, никак не было связано с моим отношением к медицине, даже тюремной.

Голодовка так голодовка. Я отказываюсь принимать пищу, так и насильственное кормление будет действительно насильственным, добровольно я для этого из камеры не выйду.

И вот на меня надевают снова наручники и волокут (без битья) в медкабинет. Там врач, сестры, со мной вошли четыре

надзирателя и офицер. Кабинет такая же камера-тройник полон народу. Все убеждают меня просто выпить питательную смесь:

Все голодающие у нас так делают, отказываются от шланга. Голодовка все равно считается. Зачем вы нас вынуждаете применять силу?

Весь этот спектакль каждый раз вызывал у меня дурацкое ощущение. Я никак не мог определить для себя, где, в какой точке мой отказ от добровольного подчинения перестает быть протестом, становится просто ослиным упрямством («хохол упрямый» говорит обо мне жена).

Вот на девятый день голодовки мне предлагают «по-хорошему» выпить пайку голодающего (да ведь насколько это легче! все равно же загонят через шланг). Нет, не выпью. Меня корпусной каждый день уговаривает взять пайку, так уж лучше сдаться и снять голодовку, чем пить из кастрюльки питательную смесь.

Пойдешь сам принимать искусственное питание? Иди «по-хорошему»! Не пойдешь потащат. Не выпьешь смесь вольют через шланг. Не откроешь сам рот разомкнут расширителем.

Я отказываюсь от пищи, этим я поставил под вопрос свое здоровье, а может, и жизнь. Как же, зачем же я смирнехонько и с готовностью открою рот для шланга со смесью? Конечно, я знаю, всех голодающих кормят. Но согласиться с этим для себя я не мог. Раз уж решил голодать, то на кой черт мне вообще любая кормежка?

Вот я и сопротивлялся как мог. Но ведь я был абсолютно уверен, что со мной здесь справятся.

Потом идут вообще какие-то дурацкие мелочи: добровольно сядешь на стул или чтоб тебя пригвоздили к нему чужие руки? Пустяк, да? Мне и в этом противно было подчиниться. И подвергаться насилию тоже противно.

Вот ты уже брошен на стул. Восемь или десять рук тебя буквально сжали тисками, нет, не тисками, а мощными щупальцами скрутили, опутали твое слабое тело. Открой рот! Не то его сейчас вскроют, как консервную банку.

Я отказался. Тогда сзади кто-то, охватив меня локтем за шею, стал сжимать ее, еще чьи-то руки с силой нажимают на щеки, кто-то ладонью закрывает ноздри и задирает нос вверх.

Слава Богу, врач велит освободить мне шею. Подступают с роторасширителем. (Концы его, мне видно, обмотаны бинтом чтоб не оцарапать губы, десны. В Ашхабаде обходились без этого!) Нос зажат придется же мне когда-нибудь открыть рот, чтобы вдохнуть воздух. Разжав губы, втягиваю глоток воздуха через стиснутые зубы. Сразу же по ним забегал расширитель, отыскивая

щелку. Давят на зубы, на десны больно!

Марченко, откройте рот, зачем вы доводите всех нас до озлобления?!

Роторасширитель кочует из рук надзирателя в руки врача. В конце концов его откладывают. Конечно, могли бы забить его в рот, но с риском покрошить зубы. А предстоит суд. Или, может, мои зубы пожалели?

Будем вводить пищу через нос.

За волосы задирают мне голову вверх, приводят ее в покойное положение, фиксируют. Я по-прежнему весь скован так, что не могу шевельнуться. Врач довольно легко вводит мне в левую ноздрю тоненький катетр, и через него огромным шприцем вгоняют питательную смесь. Вогнали несколько шприцев. Слава Богу, кормление кончено. Меня отпустили. Но раньше, чем отправить в камеру, велели полежать на топчане. Нет, не для того, чтобы отдышался, а чтобы не вызвал в камере рвоту. Тут уж меня не мучили проблемы: ложиться добровольно или нет? Лег.

На другой день кормежки не было, и я радовался: авось, это истязание будет не ежедневно. Но зря радовался. Просто 8 марта медчасть, видно, вся отдыхала праздник. А с девятого стали кормить каждый день. Теперь уже и не пытались кормить через рот, а сразу заталкивали шланг в ноздрю. Не тот, что в первый раз, а втрое, вчетверо толще. Когда с ним подошли ко мне, у меня глаза на лоб полезли; я и потом не мог сам себе поверить, чтобы такая толстая кишка могла войти в человеческую ноздрю. Когда шланг проник в носовую полость и его стали проталкивать в носоглотку, мне казалось, я чувствую, как он раздвигает хрящи, причиняя страшную боль. Не знаю, смазали ли его хоть вазелином (в дальнейшем когда смазывали, а когда нет какая сестра), но по носовой полости и носоглотке будто наждаком прошлись или рашпилем. Боль была невыносимой, слезы текли ручьем, и я не мог их удержать. Смесь теперь не загоняли шприцем, а вливали через воронку, мне было видно ее через стекло: бордовая, довольно густая. Она убывает медленно, а из кастрюли еще подливают. Когда это кончится! Иногда, видимо, попадались комки, они застревали в шланге, и сестра начинала подергивать шланг, чтобы их вытрясти: то чуть вытащит, то снова засунет глубже. Адская боль! А если это не помогает, то шланг слегка подтягивают и пальцами прогоняют по нему смесь, выжимая застрявшие сгустки.

И потом снова такая же боль, когда вытаскивают. И позывы на рвоту. Подо ртом держат полотенце, чтобы, если вырвет, не залило всех вокруг.

Когда эта процедура оканчивалась, я ободрялся, в хорошем

настроении возвращался в камеру: до следующей кормежки целых двадцать четыре часа! А в камере скоро начинал отсчитывать часы до следующей пытки. С какого-то раза я перестал сопротивляться, когда меня вели в медкабинет, шел сам, сам садился на стул, не противился самой процедуре, и мою голову держали лишь потому, что иначе невозможно. Подчинился неизбежности пытки. Но пищу мне вводили только шлангом через нос.

Кроме искусственного питания, мне пытались делать уколы, а я сопротивлялся и этому. Дважды врач предлагала мне уколы (внутривенно и подкожно, вероятно, глюкозу и что-нибудь для поддержания сердца; арестанту ведь не говорят, что ему назначают, какие таблетки дают), и оба раза я отказывался. И тогда повторялось то же, что и с кормежкой: надевали наручники, заламывали руки, выворачивали ноги, давили пальцами за ушами, чтобы я ослабил от боли сопротивление. Я же противился изо всех сил и, пригвожденный к топчану в полной неподвижности, передергивал кожей и мышцами, чтобы не дать ввести иглу. В последний раз, за день до отправки, кончилось тем, что на меня надели какой-то особый наручник. Он сразу сжал мне запястье так, что руку от пальцев до плеча свело судорогой, как от удара током. Кажется, на секунду я потерял сознание. Внутривенное вливание так и не сделали, а подкожное, наверное, сделали, я не знаю, не чувствовал. После этого от боли в руке я не мог ночью спать, ни лежа, ни на ногах не мог найти удобное для руки положение, чтобы она не ныла. До сих пор руки ноют в плечах постоянно, а пальцы немеют; это мешает мне работать. И все ради того, чтобы не дать сделать укол!

Как это дико! негодовала врачиха. Мы вам жизнь спасаем, а вы до чего нас всех доводите!

Я, пожалуй, согласен, что вел себя по-дикарски, по-варварски. Что оставалось делать врачу? Только применить насилие. Сколько-то времени голодающий продержится без поддержки, но рано или поздно если не снимет головку, то непременно умрет. Я держал в тюрьме голодовку сорок пять дней так меня же кормили! Эта самая врачиха меня мучила, сама мучилась, а кормила! В этапе, без поддержки, я через восемь дней снял голодовку. А не то умер бы, но умереть можно и менее мучительным, более быстрым способом.

Конечно, я сам заставил применять к себе силу. Я, правда, не могу поверить, что нужно было такое насилие, такая мера мучительства (притягивать затылок к спине, пока в глазах не потемнеет; или одна рука прикована к стулу наручником, другая сзади перекинута через спинку стула, пропущена под ней

изнутри, и надзиратель вытягивает ее за кисть кверху, одновременно заламывая назад, чуть не узлом завязывает; боль адская, а зачем?). Пусть надзиратели теряют чувство меры, зверея от моего сопротивления; и я озлобляюсь. Но за этим наблюдает майор заместитель начальника тюрьмы. И врач.

Не верю, что четыре-пять здоровенных надзирателей не могут справиться со мной (уже порядком истощенным и слабым), не применяя пыток. Делают же уколы барахтающимся и вырывающимся пятилеткам обычно одна сестра с этим справляется, не доводя ребенка до шока. Я не ребенок, но четыре мужика могли бы меня удержать полминутки.

Но врач тоже может озлобиться, и не мне быть в претензии, раз я сам ее до этого довел. В итоге-то она же оказывала мне помощь, выполняла свой профессиональный долг…

Хорошо. А как обстоит дело с врачебным долгом, когда она отправляет голодающего в этап? На сорок пятый день голодовки в общий этап! «Какой ты голодающий! сказал мне офицер в одной этапной тюрьме. Тут что-то не так. Был бы голодающий тебя если б уж этапировали, так в сопровождении фельдшера или медсестры». Больше месяца меня швыряли из вагонзака в общую камеру (ни сесть, ни лечь; медсестры не дозовешься) и обратно. И в такую дорогу врач отправляет голодающего! В ее воле, в ее полной власти было запретить этапирование общим порядком. Нет: «хочет пусть подыхает»; так что же она мне голову морочила своими причитаниями о гуманной профессии! «Мы вам жизнь спасаем» да, чтобы ты не у нас подох. Для этого насильно заливали еду чтобы успеть столкнуть в этап даже без пометки о голодовке. Уколом с этим проклятым «шоковым» наручником жизнь спасали? Как бы не так: себя страховали, чтобы в случае моей смерти на этапе оправдаться бумажками: давление было в норме, сердечная деятельность в норме, кровь хорошая…

«Как это дико!» да, дико; а вы хотели бы, чтобы все выглядело приличненько, культурненько: гуманный врач, благодарный арестант, а под конец пихнуть меня под зад коленкой к могиле?

Настоящая голодовка вообще дикость, варварство, как и всякое самоистязание. Мирно проходит кормление или с боем, по правилам науки или без все равно дикость. Решаешься на это, когда чувствуешь, что ничего другого тебе не остается.

Я отсчитывал день за днем, размышляя, сколько же будет тянуться следствие. Собственно, следствие замерло. Дежурная не появлялась, я отсиживал просто так. Было абсолютно ясно, что, во-первых, расследовать в моем деле нечего, во-вторых, не Дежурная им занимается (раз уж она даже не знает, что изъяла на обыске) то есть не расследованием, а подбором бумажек для

предстоящего спектакля. Но сколько же на это надо времени? От силы несколько дней, а идут недели. Значит, что-то со мной не решено еще. А вдруг решится не наихудшим образом но как? У меня мелькало предположение о ссылке, но я не мог себе представить, какие же мотивы выдвинут для «смягчения» приговора такому закоренелому преступнику, как я: пятая судимость! И кто эти мотивы подкинет суду? Не я еще не хватало! Адвоката у меня, я заранее решил, не будет. Кому же может быть уготована эта роль? В общем, предположение о ссылке я отверг.

А может, наоборот, вместо нарушения надзора мне предъявят что-то посерьезнее, как обещали в КГБ. Тогда следствие придется считать не неделями месяцами. А срок многими годами.

Между тем тюремное начальство обо мне не забывало. Задушевных бесед больше не было, а просто настаивали, чтобы я снял голодовку: голодовка у нас вообще «не считается» (то есть с ней не считаются; это я и сам знаю), она есть грубейшее нарушение режима, и только. В одну эту дудку на разные голоса дудели и начальник тюрьмы, и прокурор, и врач, и мой сокамерник.

Силы убывали незаметно для меня самого. Постоянно кружилась голова (но это было и до голодовки из-за отита). Начались кишечные кровотечения (тоже случались и раньше; авось пройдут). Трудно стало ходить, особенно по лестнице.

Как-то я заметил, что кожа не теле зудит как бы от укусов. Почесываюсь. Зудит! Как лягу на постель зудит! Сначала я и мысли худой не допускал: вши или клопы и автоматика, керамика, пульт управления… Быть не может. Но зудит! Лезу в наматрасник, ищу она, голубушка, тюремная вошь. Есть такое суеверие, что вши сами собой заводятся, когда смерть близко. Неужто я уж так дошел, сам того не заметив?

Игорь, смотри…

Что, вошь? Да их тут полно в постелях. Во всех камерах.

Все же вызываем сестру, говорим ей. Она нисколько не удивилась. Правда, тут же нас повели в баню, все барахло в прожарку, постели забрали, выдали другие. Приходим из бани. Ложусь зудит! Вошь! Что за черт, и прожарка не берет!

Ну да, не берет! говорит Игорь. Просто вошь теперь хитрая, зачем ей в прожарку лезть? Она в каптерке отсиживается, пока мы в бане моемся. Проведет передислокацию со сданных одеял на свежие и снова в камеру, в родной дом. Это же давешние знакомые, не узнаешь в лицо?..

В конце месяца мое «дело» закончено.

Вот это да! В него включены материалы из КГБ: предостережение, цитируются передачи западного радио, донос

петрищевского лесничего подшит. И все это к нарушению надзора! Тем лучше, я смогу оперировать не догадками, а фактами, что дело не милицейское, а гэбэшное. Я решил в судебном разбирательстве не участвовать, но последнее слово скажу. Главное в нем будет, что этот суд расправа за мои взгляды, за выступления; и о рабстве, крепостничестве в СССР. Материалов для этого хватает в самом «деле».

Я потому и от защитника решил отказаться, чтобы это меня не сковывало в последнем слове. Конечно, для судей это облегчение: защитника не будет, сам не защищаюсь бей лежачего! Мы с Ларисой загодя договорились обоим ходатайствовать, чтобы ей защищать меня на суде. Если бы разрешили, судьям можно не позавидовать. У нее логика бронебойная, так что от кое-как сляпанных юридических декораций остались бы одни клочья. Но ведь не допустят ее, в этом можно не сомневаться. Может, стоило бы все-таки пригласить адвоката? А, все равно исход предрешен, нечего людей втравливать в неприятности.

Вскоре мне вручили обвинительное заключение. Обычно, как просветили меня сокамерники, одновременно сообщают, когда будет суд. Мне же почему-то не сказали. Думаю, что скоро. И я начинаю готовиться. Хотя что готовиться? Готовлю последнее слово, а чтоб не отобрали, пишу на обороте казенного обвинительного заключения. Его отнять не имеют права.

31 марта

Утром меня вызывают из камеры. Надзиратель велит надеть телогрейку значит, на улицу. Куда же снова к начальнику? Может, в тюремную больницу? Или на психэкспертизу повезут? «На суд!» мелькает в уме, и я быстренько собираю свои записи, кладу в карман обвиниловку. «Никаких бумаг!» командует надзиратель и, выхватив у меня из кармана листки, швыряет их на кровать.

По дороге пробую узнать, куда же меня ведут.

Не разговаривать!

Надзиратели сдают меня милицейскому конвою. Эти велят раздеться догола, просматривают, прощупывают всю одежду, отбирают все бумажки, какие еще там есть, и с записями, и пустые.

Куда везете?

Не разговаривать! Привезем увидишь.

Конечно, на суд. Вот гады мало что не предупредили, еще и все бумаги отобрали. Даже обвинительное заключение, а я-то,

дурак, рассчитывал: «не имеют права»…

Может, от тряски в «воронке», или от волнения, или же от злости заколoло сердце и слабость охватила, начало знобить. Когда выгрузили из «воронка», я еле на ногах держался.

Руки назад!

Я не подчинился, и меня моментально заковали в наручники. Так и привели в зал, идиоты! А здесь хотели снять наручники потихоньку, за барьером вряд ли их кто заметил, пока вели. Но я нарочно поднял руки выше барьера: уж коли заковываете, так публики нечего стесняться, пусть знают, как нашего брата водят.

Мне пришлось сразу сесть: ноги не держали. Обернувшись, я стал рассматривать публику. Много знакомых, друзей из Москвы, улыбаются мне. Как приятно их видеть! Я никак не думал, что столько народу приедет. Ведь от Москвы до Калуги ехать около четырех часов, когда же им пришлось из дому выйти? И несколько человек из Тарусы в зале. Лариса здесь, а с кем Пашка? Наверное, с Иосифом Ароновичем достается деду хлопот из-за меня…

Но вот: «Суд идет, прошу встать!» Я не встал.

Спектакль начался. Не буду его описывать. Я видел самиздатский сборник об этом суде «Именем Российской Советской Федеративной Социалистической Республики»; по-моему, там все подробно и точно рассказано, добавить мне нечего. Поэтому я попытаюсь передать лишь свои ощущения на суде. Они связаны с избранной мною позицией неучастия в разбирательстве.

Я давно уже слышал от юристов, что подсудимому трудно удержаться на этой точке и мало кто удерживается. Это правда, что трудно: несут о тебе всякую чушь, а ты молчишь. Вот моя начальница сообщает, будто бы я сказал ей: «Может, и поеду в Москву на праздники». А я сказал ей другое: «Успокойте милицию, никуда не поеду, буду в Тарусе». Так и подмывает напомнить ей, да она и сама, конечно, помнит. Но на стандартное предложение судьи задать вопросы свидетелю я повторяю, что отказываюсь участвовать в суде.

Вот тарусский милиционер Кузиков заявляет, что видел, как я уезжал из Тарусы автобусом; врет, врет, даже глаза отводит. Я бы его спросил… Мысленно уличаю Кузикова, а вслух снова говорю судье: «Не участвую».

Московский участковый Трубицын со своей карикатурной квадратной рожей, с глазами навыкате сплел целую повесть: «В таком-то часу провел инструктаж… Попил чайку… Поздравил Марченко с праздником…» Врет, врет, поздравил бы он, как же! Да его от одного моего взгляда в сторону сносило, он моей жене

жаловался: «Что это ваш муж на меня волком смотрит?» Я оборачиваюсь, переглядываюсь с Ларисой. Она, наверное, как и я, вспоминает сейчас наш спор о Трубицыне. Она меня упрекала, что зря я в каждом чиновнике вижу врага, что Трубицын мужик добродушный, дурного не делает, до пенсии дорабатывает, без особого рвения выполняет свои милицейские функции. Я же стоял на своем: этот добродушный пучеглазый толстяк прикажут, и всех нас троих живьем в землю зароет. Вот, пожалуйста, полюбуйся: щеки надувает, красуется, а ведь знает, что его ложь обойдется мне в два лагерных года… Лариса смущенно мне улыбается: мол, ты был прав.

Не участвую.

Но как же трудно не участвовать, когда они один за другим выходят и лгут! Их легко уличить, я потребовал бы вызова свидетелей, пять человек покажут, что я не…

Что «не»?

Не ехал тогда в автобусе! Позвольте, а если б ехал? Пытался его угнать? Поджег Тарусу и сбежал? Бросил свой ответственный пост? Наконец, сел в автобус без билета? Да нет же, только это: «Сел в автобус и поехал».

Что там такое врет про меня Трубицын, главный свидетель обвинения? «Видел, как Марченко с женой и ребенком гулял во дворе… Открывал дверь своей квартиры…»

Не гулял! Не входил в свой дом! А если б входил?!

Что я, украл ребенка, меня судят за киднаппинг? Вломился в чужое жилье с целью грабежа? Или же буянил, сквернословил во дворе? Может, хоть пьян был в светлый праздник Октября?

Нет, гулял со своим ребенком, входил в свою квартиру и это весь криминал. Потолок.

Что же они не подучили Трубицына соврать чуть больше? Ну пусть я матом его покрыл, что ли!

А зачем? Этого «нэ трэба», сказанного довольно. Гулял со своим ребенком, вошел к себе в дом этого довольно, чтобы уже месяц держать меня в тюрьме, водить в наручниках. Месяц следователь докапывается (предположим, что ведется следствие), было ли совершено это страшное преступление. Из-за этого я тридцать три дня голодаю. Из-за этого старик-тесть мается с двухлетним внуком в присудебном скверике: что дадут? может, скинут? Из-за этого двадцать моих друзей сидят в калужском суде он и во сне им не снился! с лицами, сведенными болью за меня. Вот сейчас это же обстоятельство как главный состав преступления обеспечит мне два года за проволокой! А не води сына за ручку! Там не погуляешь!

И как особая милость, нежданная, с неба свалившаяся, четыре

года ссылки в Сибирь.

Четыре года ссылки в Сибирь за то, что сего числа гулял со своим ребенком во дворе своего дома.

К тому же этого не было.

Послушайте, это же сумасшедший дом!

Нет, ответствует Первый секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев. Таков один из наших традиционных национальных обрядов.

Ваших обрядов! Вашей нации советских коммунистов! Не моей!

«Я обращаюсь ко всем людям во всем мире и прошу всех, кто может, помочь мне и моей жене с сыном эмигрировать в США. Я продолжаю голодовку…» (мое последнее слово).

Суд и две поездки в «воронке» туда и обратно вымотали меня совершенно. Оказывается, сил осталось меньше, чем я думал. А предстоит этап! Как же меня будут этапировать? Раскошелятся на спецконвой? Или поместят в больницу, пока не сниму голодовку? Тогда Бог весть на сколько отодвинется встреча с семьей.

На суде меня просто обожгло заявление Татьяны Сергеевны о голодовке солидарности. Сам мучаюсь, да еще втянул в тот же водоворот другого человека. Я понимал ее отчаянный порыв, но не мог с ним согласиться: разве можно связывать друг друга круговой порукой? Что же мне теперь делать? (Через дней десять мне передали очень теплое, трогательное письмо от Татьяны Сергеевны. Она писала: «Не думайте, ради Бога, что вся причина только в Вашем поведении. Отнюдь нет… Поймите и безвыходность моего положения, как я понимаю безвыходность Вашего. Не сердитесь и не переживайте за меня…» Успокоило меня вот это место: «Как только Вы тронетесь в путь… я эту ситуацию изменю», значит, снимет голодовку и, надо надеяться, скоро. Слава Богу, теперь я мог независимо, сам определять свои сроки.)

Ведя меня на кормежку, надзиратель сказал:

Что же ты голодовку не снимаешь? Ведь ссылка!

Снятия голодовки ждали и все остальные: добился же ссылки. Тюремщики, видимо, этому изумлялись. Ведь голодовка не «считается», голодовка есть нарушение режима, а вот же добился человек скидки, и какой! Ему бы по судимости и по строптивости в полосатики, а вместо этого ссылка! «На свободу едешь».

Но как же на самом деле быть теперь с голодовкой? Сил уже мало, и вроде бы исчерпался ее смысл.

Обычно голодовка объявляется в поддержку какого-либо требования. Она как бы подчеркивает важность и серьезность этого требования, готовность добиваться его любой ценой, ценой жизни. Ее пытаются держать вплоть до удовлетворения

требования, но у нас это практически безнадежно, и все это знают. Хорошо, если удастся добиться чисто символического компромисса; и то редкость. Так что голодовкой скорее надеются привлечь внимание к проблеме, взывают о сочувствии и поддержке. Прислушайтесь к этим призывам, гуманисты Запада! Ведь люди кладут на это здоровье, рискуют жизнью, где ваш отклик?

Моя голодовка не связана с какими-либо требованиями это протест. Я думаю, протест политический. Началом этой акции правильно будет считать не 26 февраля начало голодовки, а 11 октября, день, когда я заявил, что отвергаю надзор и на арест отвечу голодовкой. Этим я не требовал своего освобождения от ответственности перед законом. Закон обернулся против меня дубиной в руках бандита; о чем же мне бандита просить, а тем более чего я мог требовать? Мой протест был реакцией на насилие, и чем грубее это насилие, тем более крайние формы приобретает протест.

Приходилось слышать, что голодовка (или другое самоистязание) как форма протеста метод уголовников; политзаключенные же голодают, выдвигая какие-либо требования. Я с этим не согласен. Уголовник себя калечит и в знак «протеста» (например, отрезает себе ухо и накалывает на нем: «В подарок съезду КПСС»), и тоже чего-то требуя: «Начальник, не дашь чаю смертельная голодовка!» Все дело в том, чего ты требуешь, против чего протестуешь; этим определяется, политический ты, или урка, или просто дурак.

Хотя я и не заявлял никакого требования, но, признаться, допускал скажем, один шанс против ста, что в результате огласки меня могут и не посадить: дело-то уж очень позорное для властей, авось постесняются. Я был бы рад такому исходу. Решение эмигрировать могло, считал я, подкрепить мой шанс: ведь вся карусель с надзором и все последующее все это было заверчено для того, чтобы заставить нашу семью уехать из страны.

Я хочу объяснить свои поступки до точки (там, где я в состоянии это сделать) и надеюсь, что читатель мне поверит. Поэтому повторю еще раз: заявлением об эмиграции я надеялся повлиять на мою судьбу и судьбу моей семьи. А голодовка была предпринята без такого расчета [1], хотя я и допускал, что она может оказать на мою судьбу влияние, привлекая к моему делу внимание мировой общественности.

Однако нельзя протестовать до бесконечности. Естественный предел это когда кончились силы. После суда силы у меня еще были, хотя и близились к концу. Но существует и другая граница

это когда обстоятельства вроде бы не переменились (насилие продолжается), но как-то стабилизировались, когда кончился момент борьбы; этим пределом, вероятно, должен был стать суд. Продолжать голодовку значит теперь привлекать внимание к себе, к своей персоне, а не к сути дела. Пора снимать.

Но я не мог этого сделать. Получается, будто я этого и добивался смягчения участи. Если б дали лагерь может, и снял бы. А после «легкого» приговора не мог.

Ну, а насчет мягкости приговора, так это еще как сказать. Конечно, радостно вскоре увидеть семью, жить без конвоя за спиной. Ссылка не лагерь. Но что получается? Я отверг надзор, отделявший меня от семьи непреодолимым барьером длиной в двести километров. Взамен же получил еще более грубо, еще более произвольно такой же барьер, только в четыре тысячи километров. Там сроку оставалось полгода (впрочем, продлили бы или все равно сфабриковали бы «нарушение»), а теперь три с лишком. Чему же радоваться? Как чему? «А ведь мог убить» (Это из анекдота).

Сибирская ссылка изолирует меня от родных и друзей чуть ли не надежнее, чем колючая проволока, чем даже государственная граница: корреспонденцию проверяют (вопреки закону), а доберись-ка в такую даль времени, денег не напасешься. Изолирует не меня одного, а и жену, если она поедет ко мне (на то, видно, был расчет). Наконец, в ссылке можно не хуже, чем в лагере, организовать против меня новое дело: в сибирском поселке найдется сто кузиковых и трубицыных, а суд пройдет глухо, ведь Сибирь не Калуга…

На эти темы мы кое-как перемолвились с женой на свидании 1 апреля: намеками, ловя их с полуслова. Особенно не разговоришься, когда на свидание дано полчаса и вы оба сидите в этих стеклянных банках, где друг друга слышите неважно (трубки, что ли, барахлят), зато вас, наставив ухо, с двух сторон прослушивают два сержанта в юбках (а где-нибудь, невидимое, и третье ухо приложено в аппарату). Лариса начала было мне рассказывать о Пашке, но у меня слезы подступили к глазам и я попросил ее не говорить о сыне. Я очень тоскую по нему. Он сейчас совсем рядом ждет с дедом за воротами тюрьмы. А каково сейчас Иосифу Ароновичу? Что ему вспоминается? Киевская тюрьма сорок лет назад, оставшаяся где-то шестилетняя дочь, которую он увидит потом семнадцатилетней? Воркута, Игарка, друзья, похороненные там? Тестю скоро восемьдесят лет; мы с ним искренне привязаны друг к другу. С каким чувством смотрит он сейчас на двухлетнего внука?

Сижу я в камере, все в той же камере, В которой, может

быть, сидел мой дед, И жду этапа я, этапа дальнего, Как ждал отец его в семнадцать лет.

Не дай Бог Пашке судьбу деда, отца и матери!

9 апреля

Кончился срок, данный на обжалование приговора. Я им не воспользовался. Сегодня приговор вступает в законную силу.

Днем меня привели в кабинет начальника. Кроме него самого, там еще три майора МВД и уже знакомый мне прокурор по надзору.

Действительно ли вас, Марченко, избили в тюрьме по прибытии? спрашивает прокурор.

(Наверное, жена подала жалобу после свидания; не сам же начальник тюрьмы донес на себя. А больше я никому не говорил.)

Я подтвердил этот факт.

Вас никто не избивал. Вас никто не трогал, убедительно возразил мне один их майоров начальник Калужского УМЗа.

Доказывать мне нечем, да и не хочется. Зря Лариса пожаловалась, я ее не просил. Майору из УМЗа тоже доказывать нечем, но от него и не требуют доказательств. Меня же сейчас интересует не он, а начальник тюрьмы что он скажет? А ничего. Молчит, передергивает рычажки на своем пульте, я стерегу его взгляд, но он не поднимает головы. И то ладно…

(Теперь я узнал, как он отвечал на жалобу самой Ларисе:

Избили? Мне об этом ничего не известно.

Муж сообщил мне, что говорил вам…

Я проверил, это не подтвердилось.

Вы же только что сказали, что не знаете! Как же вы проверяли спрашивали тех, кто бил?

Марченко осматривал врач, следов побоев не обнаружил (опять соврал! Никто не осматривал ведь я не жаловался; и он это знает).

Я понимаю, что моя жалоба бездоказательна. Я вам об этом случае сообщила, чтобы вы обратили внимание: других, наверное, тоже бьют.

Вашего мужа никто не бил.

Следующий вопрос об отобранных перед судом бумагах. Опять начальник тюрьмы помалкивает, а майор из управления спорит, что не отбирали. Но ведь на суд меня привезли с пустыми руками, я это и судье заявил, и публика знает! Так, может, сам Марченко нарочно их в камере оставил? Позвать сюда выводившего надзирателя!

Тут вмешивается начальник тюрьмы: он не помнит, кто тогда дежурил, того надзирателя найти никак невозможно.

Прокурор понял, что тут не полный ажур, а потому слишком рьяно уличать меня во лжи как бы не промахнуться, в своего не попасть. Битый час шло толчение воды в ступе: что же вы конвою не заявили? Ах, конвой тоже отобрал бумаги? Ка-ак не знали о дне суда? Вам же объявили? Нет. Этого быть не может! Ведь объявили? (это к тюремному начальству). Начальник тюрьмы молчит а знает, что не сообщили. Майор из спецчасти трясет головой: сам, лично объявил! Прокурор, вновь почувствовав себя уверенно, требует соответствующую бумагу. А она не оформлена, и подписи моей нет (ни понятых, если бы я от росписи отказался).

Опять разговор возвращается в отнятым бумагам может, их все-таки не отбирали?

Это не тот случай, что с избиением. Не отбирали? Да весь зал видел, как мне их принесли и вручили к концу заседания…

Как?! вскинулся, как проснулся, управленец. Так их вам вернули? Так они у вас? Товарищи! он обе руки простер к коллегам. Вы слышите, бумаги у него, ему их вернули! А он кляузничает, а мы разбираемся. Вернули бумаги-то!

Прокурор и начальник тюрьмы пытались взглядами остановить его неуместные восторги, но он не унимался: «Да мы вам вот сейчас телеграмму с Ямайки вручили! (Действительно, вручили: сочувствие, поддержка.) Такую телеграмму отдали в руки! И бумаги, оказывается, вернули! А вы…»

Но тут его настиг наконец остерегающий взгляд прокурора, и он так и остался с открытым ртом, недоуменно переводя глаза с одного на другого. Между прочим, дело серьезное: отобрать у подсудимого обвинительное заключение значит нарушить его право на защиту, а этого довольно для пересмотра дела. Как управленец мог не знать этого? На мундире у него тоже синий ромбик высшее образование!

Впрочем, несмотря на неловкие моменты, все обошлось: жене прислали ответ, что меня не били и что бумаги были при мне на суде. Это при полном зале свидетелей обратного! Прокурор врет какой же с бедняги Кузикова спрос?

…Каков «мой» честный майор? Я торжествовал: мой тезис о собаке на собачьей должности не дал осечки. А к вечеру получил еще одно подтверждение. Мне вручили постановление о лишении свидания с женой подпись стояла «начальник СИЗО-1 майор Н. В. Кузнецов». Но тут я почему-то не радовался своей проницательности.

12 апреля

день космонавтики, и Калуга, «историческая колыбель космических полетов», отмечает его как свой престольный праздник. С утра на эту тему надрывались все репродукторы, а их полно: в каждой камере, да еще громкоговоритель во дворе. Меня всегда раздражает самодовольное советское бахвальство о покорении космоса, я от него завожусь, как мальчишка: вам ли гордиться? Областная газета информирует о снятии маршрутов городского (!) транспорта в связи с весенней распутицей, из ближних районов в эту космическую колыбель едва добираются на тракторе, а туда же, первые в мире, лучшие в мире!

Кормежка сегодня была часа на два раньше обычного (а вчера медосмотр; не на этап ли готовят?), и, отлеживаясь после нее в камере, я уж и не знаю, от чего меня тошнит от шланга проклятого или от ликующего тона радиодиктора. Хочу отвлечься и не могу. Наверное, от злости. Передают интервью, документы, воспоминания о Гагарине, все прослоено громогласной оптимистической музыкой. Вот включают запись с космодрома 12 апреля 1961 го-да (мне тогда было двадцать три года, и я сидел на семипалатинской пересылке на пути в Тайшет).

Сквозь шум и треск из космоса слышится голос Гагарина: «Поехали!»

Дверь камеры распахивается, на пороге улыбающийся надзиратель с моей личной карточкой в руке:

Ну, Марченко, поехали!

Остается собрать свое барахлишко: мыло, пасту, носки, учебник английского языка.

В тюремном боксе меня принимает конвой. Обыскивают, задают вопросы:

До машины дойти сможете? значит, знают, что берут голодающего.

Есть ли возражения против этапирования?

Я делаю заявление, что голодаю сорок пять дней, а на прочие вопросы не отвечаю.

Получите этапный паек.

Не беру.

Паек берет сопровождающий машину старшина, а меня запирают в темном боксе «воронка»: со всех сторон железо, железная дверца с крошечным иллюминатором глазком. Один и то слава Богу!

Может быть, глядя в окно своего кабинета на отъезжающий «воронок», майор Кузнецов злорадно усмехается: «Поехал!» И облегченно вздыхает тюремный врач: «Поехал наконец-то!»

Вагонному конвою я тоже заявил, что сорок пять дней держу голодовку.

Чего, чего?! переспрашивает начальник конвоя.

Офицер из тюрьмы что-то шепчет ему, и он больше не задает вопросов, орет:

Давай, давай в вагон, чего стоишь!

Старшина пытается сунуть мне паек в руки, но я не беру.

В вагонзаке в тройник вслед за мной вталкивают еще одного калужанина (а третий попутчик здесь раньше нас, едет от Воронежа).

Едва войдя, он протягивает мне сверток:

Ты Марченко? Старшина велел передать, тут твой паек.

Я паек не беру: голодающий.

Парень смутился, поняв, что влип в историю, стал оправдываться:

А х… лишь он мне не сказал, я бы х… взял.

Много раз меня возили этапом, и, хорошо зная прелести такого путешествия, я побаивался, как перенесу его в состоянии голодовки. Но все же надеялся на свои силы и на свое упорство и имел твердое намерение продолжать голодовку и в этапе, и в ссылке. К тому же мне пришлось видеть голодающих в этапе и слышать о них, и я знал, что как ни худо, а все-таки тюремщики как-то поддерживают их силы, не дают умереть. И в тюрьмах, и в вагонзаках их держат отдельно от остальных. Я не мог себе представить, каким непосильно тяжелым окажется этот этап.

Из Калуги меня везли таким маршрутом: через Калинин на Ярославль (пересылка); Пермь (пересылка); Свердловск (пересылка); Новосибирск (пересылка); Иркутск (пересылка) и наконец Чуна. На пересылках прокантовали около месяца, да дней десять дороги (вагонзак отцепляют, перецепляют, иногда часов по восемь стоит на путях, а в нем взаперти люди) всего я пробыл в этапе месяц и восемь дней.

В сопроводительных бумагах не было пометки о голодовке (но я сам заявлял многократно); ни разу за все время, ни до снятия голодовки, ни после, ко мне не подошел никто из медработников, не сделано было никакой скидки на голодовку. Общая камера на пересылке, общая камера в вагонзаке, общий режим, распорядок, требования. Общий этап. А это значит: втискивайся в битком набитые «воронки», часами стой на ногах в тюремных боксах, валяйся на цементном полу (если еще найдется место!) в пересыльных камерах, по лестнице вверх, по лестнице вниз, в коридор на перекличку, в баню, на прогулку, давай-давай, поспевай, отстал! С матрацем по лестнице вверх в камеру, с матрацем в каптерку живей, шевелись! Не задерживай!

Лишенный перед отправкой свидания с женой, я не мог получить необходимые мне в дорогу кружку и посудину для воды.

Значит, в вагоне смочишь сохнущий рот лишь три раза в сутки, когда конвой принесет бачок. В одном тебе легче, чем прочим: не приходится мучиться от оправки до оправки, просить конвой вывести тебя в уборную, слыша в ответ: в сапог!

Уже на третьи сутки этапа я почувствовал, что выдыхаюсь.

14 апреля

В Ярославле нас выгружают из вагонзака, колонну принимает ярославский конвой (пересчитывают, сверяют по своим бумагам). Я сообщаю конвою:

Держу голодовку сорок семь дней.

Здесь нет голодающих!

В этапной камере обе лавки уже заняты, и вновь прибывшие стоят на ногах. Набили нас столько, что стоим впритирку. Душно, накурено лиц не видно. Я, наверное, свалился бы, но мой попутчик похлопотал за меня и мне уступили сидячее место.

Часа через четыре повели нас из этого отстойника в баню. На мытье у меня уже не было сил, и я просто так сидел в моечной, пока остальные мылись. После бани опять отстойник, но уже ненадолго. И наконец, привели меня (нагрузив тюремным имуществом матрацем, подушкой и прочим, что полагается) в камеру. Слава Богу, небольшая: тройник, и нас в нем только двое. Я сразу же лег.

В тюрьме я снова заявил о голодовке. Ответ тот же:

У нас нет голодающих!

Я написал заявление на имя начальника тюрьмы: сообщаю, что держу голодовку. Отдаю дежурному офицеру, он не берет:

О чем заявление?

О голодовке.

Голодовку объявляешь?

Нет, я давно держу, с момента ареста, сорок семь дней.

Он ушел, не взяв заявления, но вскоре вернулся:

Я смотрел ваше дело, там о голодовке ничего не сказано. Мы не признаем голодовку!

И тут я зациклился. Едва отдышавшись (то есть через час или два), я стал требовать, чтобы у меня приняли заявление. Я пытался вручить его надзирателям, дежурным, офицерам, добивался, чтобы пришел врач или фельдшер. Колочу кулаками в дверь. Мой сокамерник тоже стучит: в окне камеры ни одного стеклышка, дверь расхлябанная, сквозняк тянет напрямую и прохватывает нас насквозь; а ведь середина апреля, холодно, к вечеру у нас зуб на зуб не попадает.

Наконец появляется корпусной. Сосед мой требует перевода в нормальную камеру, я же чтобы взяли заявление и чтобы врач пришел.

Далось мне это заявление! Спрашивается, чего я хотел? Врача требовал! Что мне было нужно? Чтобы накормили насильно? Нет, честно говорю, нет. Есть мне не хотелось, голода я не чувствовал. К мучениям не стремился, не получал от них удовлетворения (я это говорю без иронии слышал, что так бывает). Поддержать силы? Пожалуй, нет. На третий день этапа я был уже очень слаб, и надо сказать, что это отвратительное состояние и физически, и нравственно. Я ощущал, что слабею буквально с каждым часом, и, понимая, что рано или поздно дойду до предела, когда не в силах буду подняться, хотел бы, чтобы этот момент уже наступил. Что будет затем я не думал. Сниму голодовку (но я боялся, что, не зная, как выходить из голодовки, я могу сразу угробить себя). Или потеряю сознание и тем освобожусь от ответственности за самого себя (подлая мысль, но так хотелось в этой слабости освободиться от груза, от усилий, даже нравственных). Зато, исчерпав все силы, можно не подниматься, не двигаться, лежать и делайте со мной что угодно: я не могу встать.

Но пока еще, выясняется, могу. И приходится тянуться за остальными, сильными и здоровыми.

Вот если бы признали меня голодающим, то не гоняли бы бегом, бегом! по коридорам, по этапным камерам, не заставляли бы вставать, когда проверка… Я мог бы лежать. Я хотел, чтобы меня оставили в покое, не дергали.

Примите заявление о голодовке.

У нас нет голодающих!

Вот это, оказывается, мне переносить труднее всего это безразличное отношение ко мне. Не ко мне, Анатолию Марченко, а ко мне, человеку. «Нет голодающих» и все, и ты не голодовку держишь, а так просто: пообедал или вылил в сортир, твое дело. Да пусть бы никаких скидок, никакого облегчения, пусть бы даже большие тяготы голодающему (скажем, карцер), но чтоб только знали хоть про себя: на ногах держим голодающего, лечь не даем голодающему, навьючиваем голодающего, загнали, упал, умер голодающий… Так нет же! «У нас нет голодающих!»

Возьмите заявление!

Сиди, сиди!

Врача!

Жди, будет врач.

И нет врача. А то подойдет, спросит в кормушку, в чем дело.

Голодовка… Пять дней нет стула… Дайте слабительное…

Ладно, подождите.

Уходит и больше не появляется.

Первую ночь в Ярославле я не спал, а в каком-то полузабытьи провалялся до подъема. На следующую ночь, часов в двенадцать, меня вызывают на этап. Я уже не в силах тащить матрац в каптерку, бреду из камеры порожняком. Надзиратель, матюгаясь, дергает меня за рукав обратно в камеру, дергает так, что я валюсь на стенку. Но тем и кончилось: спасибо, сосед вытащил мою постель.

Нас, этапируемых, ведут в этапную камеру, и здесь мы проводим всю ночь до утра на ногах сидеть не на чем, лавок нет. Под утро выдают селедку и хлеб этапный паек.

Не беру. Голодающий.

Сколько ж голодаешь?

Сорок девять дней.

Сорок девять? И ты еще живой? Капитан рад развлечению. Ха-ха-ха! Ну и живучий! Ха-ха-ха!

Огромная туша капитана колышется от смеха, брюхо трясется и ходит ходуном. Я взбешен, чувствую себя униженным и бессильным.

Минут через сорок капитан снова появляется на пороге камеры, за его широченной спиной скорее угадываются, чем видны надзиратели.

Где тут голодающий? Подойди!

Я с трудом поднимаюсь с пола, протискиваюсь из угла камеры к двери, останавливаюсь перед капитаном:

Я голодающий.

Он стоит, заложив руки за спину, окидывает меня взглядом:

Голодающий, пойдем, поборемся!

Капитан хохочет, смеются за его спиной. В камере тихо.

Я отхожу от него подальше, чтобы не сорваться, и долго переживаю этот эпизод. Я и потом возвращался к нему, когда был уже далеко от Ярославля и снял голодовку. Почему я не плюнул этому борову в рожу? Или правильнее, что сдержался?

…А все же интересно, чем бы для меня обернулось дело, плюнь я в него или запусти чем-нибудь. Побоями? Судом?..

18 апреля

На рассвете приехали в Пермь. Снова заявляю конвою:

Я голодающий, голодовка пятьдесят дней.

А где ваш сопровождающий? Врач или фельдшер?

Откуда я знаю!

Тут что-то не так! Был бы голодающий без врача ни один

конвой не принял бы.

«Воронок» обычное дело набит битком, и так как я подхожу последним, мне места нет. Зэк передо мной сумел втиснуться лишь наполовину, я останавливаюсь за его спиной. А сзади: «Давай, давай!» Видя мое неусердие, два конвоира вцепились руками в решетку, а коленями стали вминать меня в сплошную массу зэков. Вдавили, задвинули дверь-решетку, защемив ею мою телогрейку на спине. Так я провисел около часа пока загружали остальные «воронки», да пока ехали по городу, да стояли во дворе тюрьмы… Не знаю, все ли время я был в сознании…

В этот день дважды я подавал дежурным офицерам заявление о голодовке, и дважды оно летело на пол, мне под ноги:

Паек получил? Сожрал? Голодающий!..

Окружающие сочувствуют мне, возмущаются тюремщиками. Мой попутчик из Ярославля рассказывает им: «Я с ним в одной камере был, и в вагонзаке двое суток на одной полке сидели он ни крошки в рот не положил. И паек не взял».

«Да что, по нему не видно?» Но никто не понимает моего упрямства: «Им не докажешь!», «Подохнешь только им на радость», «Нет правды, где правда была, там х… вырос» и т. п. Все дружно советуют мне бросить бесполезную затею.

Пора кончать голодовку. Завтра сниму.

В этот же день всех прибывших выводят к врачу на медосмотр (называется почему-то «комиссия»). В кабинет запускают по шесть человек, опрос короткий (осмотра совсем нет):

Жалобы есть? Вшей нет?

Я сообщаю: пятьдесят один день голодовки.

А где ваш врач?

В Калуге, в тюремной медчасти.

Вас должен был сопровождать врач до самого места… Когда вас в последний раз кормили?

12-го, в день отправки.

А сегодня 18-е… она смотрит на меня с сомнением. А когда был стул?

9-го. Дайте слабительное.

Но я только принимаю этап. Помощь оказывают другие.

Ни ее, ни «других» я больше не видел.

В течение дня нас водят в баню, проверяют, перепроверяют, сортируют, загоняют в отстойники. Многие мои попутчики едут на «химию», да и в предыдущих этапах, видно, тоже. Стены в боксах исписаны прощальными надписями: Восемнадцать человек из Грозного ушли на «химию» и число; «22 человека из Кишинева ушли на БАМ» и число.

В камере, куда я попадаю лишь к вечеру, одни «химики» и

ссыльные, человек двадцать пять. Всем нам, в отличие от лагерников, выдали по две простыни впервые встречаюсь с такой роскошью. Зато четверым, в том числе и мне, не находится места на койках, так что постель стелить негде. На ночь в камеру дают четыре деревянных щита на пол, а утром, в 6.00, забирают, и прилечь негде. Ну, правда, можно на голом полу.

19 апреля

Не так это просто, оказывается, остановиться. Утром я снова отказываюсь от пищи, пытаюсь безуспешно вручить дежурному заявление, требую врача. «Врач будет», обещает надзиратель; но парень, у которого огромный гнойник на ноге, со знанием дела дополняет: «Будет не чаще раза в неделю; и то надо с боем добиваться».

Я все же жду врача, да и что еще остается? Больше всего хочется лечь и лежать, но у меня нет лежачего места. И врача нет.

Сегодня пятьдесят два дня голодовки. И неделя этапа. Как это может быть, что я еще держусь на ногах? Прав тот капитан: живучий, черт! Хоть бы скорее потерять сознание! Тогда я знал бы, что дошел до предела, и снял бы голодовку. И еще, может быть, мне дали бы полежать, отлежаться (все-таки, оказывается, я надеюсь на какую-то гуманность в родной стране).

Пока же удается немного полежать на кроватях соседей: то один, то другой на время уступает мне место.

Разносят обед, я снова отказываюсь а зачем? Нет, я все-таки добьюсь, чтоб меня признали голодающим! Стучать в дверь руками или ногами я уже не могу, то есть пытаюсь, но удары получаются слабенькие, так, какое-то царапанье, и никто даже не подходит: здесь пересылка, и такой ли надзиратели слышали стук и грохот! Тогда сокамерники сооружают мне таран: придвигают к двери стол, на него кладут скамейку вверх ножками вози ее по столу и бей в дверь. Для многих это развлечение в нудной тюремной жизни, в их глазах любопытство, что сейчас будет, чем это дело кончится? Некоторые подзуживают меня, другие остерегают: «Брось ты эту затею, выведут в коридор, отбуцкают и в карцер» (вчера вот так после прогулки одного уволокли; да это тут вообще не редкость). Ну и пусть, в карцер так в карцер, мне уже все равно. Бью тараном в дверь, удары получаются редкие, но достаточно громкие. Подошел коридорный, увидел в глазок таран, заорал, заматерился. Я продолжаю свое занятие, как автомат. Коридорный ушел. Через сколько-то времени загремел замок. Камера насторожилась, замерла, мне шепчут: «Скажут

выходить не иди!» Один подходит и тянет меня от двери. Но вот дверь открыли. На пороге три надзирателя, один из них тычет в меня пальцем:

Выходи!

Два-три парня подают голоса в мою защиту.

Ну и вы выходите, тычет он в них.

Голоса стихают. Я ступаю за дверь, в полутемный коридор, в ожидании первого удара. Но вместо того в стороне у стены замечаю пожилого майора с нарукавной повязкой «Дежурный пом. начальника». (И на кителе голубой ромбик!)

Что там у вас?

Я подаю заявление. Он его читает и берет!

Передам начальнику. Врач будет.

Меня возвращают в камеру к удивлению сокамерников. Но часа через два меня снова вывели в коридор, к тому же майору. У него в руках мое заявление.

Начальник вас не примет. Какая у вас может быть голодовка? Вы же вольный человек, едете на свободу. Там и жалуйтесь. А мы к вам отношения уже не имеем и ваших заявлений не разбираем. Все.

А врач? Будет ли?

А что вам от него нужно?

И в самом деле что? [2]

Сам Анатолий категорически отвергает мою догадку: «Я же знал, с кем имею дело». Знал, знал… И все же думаю, что я права. Все мы в слабости и страдании ищем добрую руку, участливый голос, сострадательные слова. Но наша жизнь милосердием не богата. Сестру милосердия заменила медицинская сестра, функция которой умело воткнуть в вас иглу, не перепутать таблетки. Духовную поддержку получить и вовсе не у кого (разве что у парторга?). Наше воспитание со школьной скамьи направлено против жалости: «Не жалеть… Не унижать человека жалостью…»

Вот главное отличие старых русских мест заключения (каторги, острогов, тюрем) от нынешних: арестант не видит милосердия. Раньше оно притекало к нему по трем узаконенным каналам: через церковь, через врачей (и сестер и братьев милосердия) и через добросердечие народа, воспитанное тоже церковью. Не каждого они в состоянии пронять и возродить, но только оно могло проникнуть к ожесточившимся, отгородившимся от мира душам преступников. И, видно, милосердия жаждали арестанты, раз, сытые острожной пищей, просили Христа ради и принимали милостыню на праздники. Это их почему-то не унижало а вдруг да и возвышало, поднимало со

«дна»?

В сегодняшней тюремной системе нет места жалости, доброте, участию, все блага и поблажки отмеряются механической мерой: «заслужи!», «докажи, что достоин!» (даже больных не актируют, даже матерей лишают амнистии). Но откуда взяться милосердию к заключенным, когда его нет на воле?

Слабительного.

Я скажу работнику медчасти.

И лечь мне негде.

Майор оборачивается к коридорному, велит найти мне место.

А где мне взять? Все камеры переполнены, эта самая свободная.

Я снова в своей камере. Так же без места. И врач не появился, и даже сестра, которая иногда разносит таблетки по камерам «от головы», «от живота», в нашу камеру не заглянула. Отбой.

20 апреля

Ночью я проснулся у себя на щите от резкой боли в желудке. Меня трясло, ныло сердце. Боль от желудка разошлась по всему животу сначала резкими приступами, а под утро стала постоянной.

На поверку я не встал, но это обошлось. Мне уступили на время койку в нижнем ярусе, и я лежал на ней лицом вниз, боясь пошевелиться, так было больно. Я уже не думал о голодовке снять, продолжать? не лез с заявлениями, не требовал врача. Лежал и был рад, когда боль немного унималась.

Прогулка! На прогулку!

Я это слышал, как сквозь вату. Слышал, как нашу камеру вывели в коридор. Я остался лежать.

Па-чему не выходишь? надзиратель, молодой кавказец, рывком сдернул с меня телогрейку.

Не могу.

Нэ можешь? Гдэ асвабаждэние от врача?

Врача нет и не было.

Выхады! И он рванул меня с койки, как только что телогрейку.

Я не встал и снова повалился на постель. Надзиратель выматерился и ушел в коридоре выстроены остальные заключенные, и надо их вести на прогулку. Я надеялся, авось меня оставят в покое, и стал моститься, ища удобное положение. Нашел, затих. И боль поутихла, только озноб стал сильнее. Но тут

в камеру вбежали два надзирателя (кавказец и еще один) и, ни слова не говоря, сдернули меня с койки, поволокли к двери. Я не держусь на ногах, вернее, не передвигаю ими, и они бьют меня по ногам сапогами.

Может, я и мог еще сам идти, может, то была бессознательная реакция обессиленного тела на насилие? Не знаю.

В дверях камеры я упираюсь ногой в порог. В ответ знакомым приемом выворачивают мне руку за спину, и я получаю удар сбоку в живот…

Я очнулся на полу в коридоре. Прямо перед глазами хромовые сапоги. Кто-то ищет пульс у меня на руке. Другой орет в телефон:

А если он умрет у меня в камере? Забирайте в больницу и делайте, что хотите, а я отвечать за него не буду! Если он умрет…

Не очень-то приятно слышать такое.

Надзиратель бросает трубку и говорит напарнику:

Сейчас врач придет, давай его в камеру.

Меня щупают за щеки, слегка трясут, но уже без грубости. Пытаются поднять, но я снова валюсь на пол, теперь уж действительно ноги не держат. Тогда за руки и за ноги надзиратели втащили меня в камеру, бросили на койку и вышли, оставив дверь открытой. Я лег вниз лицом, подтянул ноги к животу не так больно. Но я же в тюрьме, и надзиратель за меня отвечает. Подошел, перевернул на бок, лицом к двери.

Мне так хуже.

Лежи так! уходит.

Спустя какое-то время слышу, кто-то вошел в камеру, остановился, не подходя к кровати. Открываю глаза женщина в белом халате стоит от меня метрах в двух (ближе так и не подошла):

Что с вами случилось?

Голодовка, пятьдесят три дня.

Вас должен сопровождать врач… и так далее, уже слышанное.

Мне нужно слабительное.

Хорошо, дам. Когда вас кормили?

Перед этапом, восемь дней назад.

И с тех пор нигде, ничего? А оправлялись когда?

Девятого.

Она открывает свой ящичек с красным крестом, достает пакетик. Но потом вдруг смотрит на меня и прячет пакетик обратно.

Вам теперь нельзя. От слабительного вы еще больше потеряете силы.

И уходит. Дверь с грохотом закрывается и тут же с грохотом

отворяется снова, в камеру входит офицер полковник, не то подполковник в сопровождении надзирателя.

Встать!

Лежу и головы не поднимаю.

Встать, кому говорю!

Я уже лежачий.

Начальник перед тобой стоит, а ты лежать будешь? Встать!

Ложитесь тоже!

Что?! Я ведь и в карцер тебя могу!

Это и он может, я показываю на надзирателя.

Офицер заходил по камере, потом снова подошел ко мне:

Ты за что попал?

Не тычьте.

На «вы» я с лучшими друзьями разговариваю, а не с преступниками!

Дурак какой!

Он подошел ближе, и мне почуялся запах водки.

Голодайте или нет, а мы отправим вас дальше с ближайшим этапом.

А в коридоре уже толпились вернувшиеся с прогулки заключенные. Их не впускали в камеру, пока офицер не вышел. «Хозяин!» услышал я от них, когда они вошли.

Просился я к нему на прием не принял, а тут сам пришел.

Целый день я лежал на койке, никто меня не дергал, не тревожил. После отбоя перебрался на свой щит. Боль в животе совсем утихла, озноб стал меньше, только сердце продолжало ныть.

С заявлением покончено. От врача мне тоже ничего не нужно. Самому непонятно, зачем я рыпался, чего добивался. Лежу, не поднимаюсь, мне покойно и ничего больше не надо. Давно бы так не встану, хоть убейте.

Теперь я стал думать.

Так, меня отправили из Калуги общим этапом за четыре тысячи километров. Отправили голодающего, после полутора месяцев голодовки, и не только без сопровождения, которое, оказывается, полагается в таких случаях, но даже не сделав в сопроводиловке пометки о голодовке. Вряд ли калужская тюремная администрация и врач взяли на себя такую ответственность сами, без чьего-то указания того, кто за кулисами распоряжается моей судьбой.

На что же был расчет? Что я умру в пути? Или сниму голодовку? Но в условиях этапа и это не гарантирует меня от гибели. Сообщат жене о смерти, вписав любую причину, для себя же решив: сам себя угробил, туда и дорога, «собаке собачья

смерть». И никто не только не понесет никакой ответственности, но даже не почувствует вины.

Да и что мне в том?.. Но все-таки обидно было бы дать себя убить вот так, безнаказанно, безвозмездно. Да я и не собирался умирать.

Три месяца до ареста жена уговаривала меня не объявлять голодовку, хоть не бессрочную. «Двух недель достаточно. Ну пусть три недели ты же ничего не требуешь, для заявления протеста этого довольно», торговалась она со мной, а я смеялся и говорил, что вытяну несколько месяцев и непременно сниму, не доводя дело до крайности. Я и сам не стремился к смерти.

Сколько я мог бы продержаться без искусственного кормления (то есть если бы меня не накачивали вообще, с начала голодовки)? Мне кажется, что месяца полтора-два, а то и больше но, конечно, не в этапе, а в покое. Может, я и ошибаюсь. А теперь мог ли бы я голодать дальше? Кто знает? Кто знает? Я слышал, что при голодовке можно умереть не от истощения, а от паралича сердца; так в какой же день дополнительная нагрузка на сердце беготня, духота, давка и т. п. окажется последней каплей? Оно и так уже болит, ноет, прежде здоровое сердце… Да и без того саданет кулаком надзиратель в расчете на здорового, и конец. Это могло и сегодня случиться.

Если б меня оставили в покое (да не в общей камере!), я мог бы и дальше не есть. Ну еще три дня. Потом все равно пришлось бы снимать голодовку не умирать же на самом деле, тем более кому-то на радость.

Наверное, надо было прекратить ее еще в начале этапа, ну, скажем, в Ярославле. Но вот это «у нас нет голодающих!» и я, дурак, завелся. Да и недосуг все было: вагонзак, бокс, «воронок», баня, «паек не беру» когда тут затормозиться, отвлечься от сиюминутной суеты, с толком принять решение? Психологически переориентировать себя для этого тоже покой нужен, а не так: не ел, не ел дай-ка пожую маленько.

Пятьдесят три дня. Хватит. Завтра утром сниму голодовку.

21 апреля

Это значит, что утром я беру пайку пол-буханки черного хлеба. Но вот проблема: что с ним делать?

Я не знаю, как выходить из голодовки, спросить не у кого, да хоть бы и знал, мало толку. Научные рекомендации были бы бесполезны: кроме обычной тюремной пищи, я все равно ничего не получу.

Пайка лежит пока нетронутая. На завтрак дают черпак каши, с нее я и начинаю. Я не знаю, из какой крупы эта каша, и не берусь догадаться; арестанты зовут ее «кирзовой», потому что она шершавая и дерет горло. А на цвет синеватая. Вот эту кашу я и жевал чуть ли не до обеда: пережевывая, пока она не превратится в жидкий клейстер (через некоторое время после начала жевания появилась слюна), процеживал ее несколько раз сквозь зубы и лишь потом с усилием глотал. Сама пища оставляла меня равнодушным, занимал лишь процесс еды, от которого я совсем отвык. После каши я таким же образом съел граммов сто хлебного мякиша и запил кипятком с пайковым сахаром. Обеденные щи есть не стал (и еще недели две обходился без них, не ел и соленую кильку а это, между прочим, значит, что в пути ничего не ел, кроме хлеба: этапный паек состоит из хлеба, кильки или селедки и двадцати граммов сахара в сутки). Вечером похлебал жижи из рыбного супа.

Надо сказать, что кормежка сейчас лучше, чем лет пять назад. Еда на пересылках более удобоваримая, дневная норма сахара увеличена на пять граммов: вместо пятнадцати двадцать. Мало? Улучшение на тридцать процентов за пятилетку!

На вторые сутки и во все последующие дни появился аппетит, да какой! Приходилось бороться с желанием съесть всю дневную пайку сразу, приходилось стыдить себя за мысль, не попросить ли добавки баланды (в тюрьме это не считается зазорным; другое дело, что редко когда получишь). О чем я точно знал так это об опасности после голода наесться сразу, и поэтому долго еще соблюдал полуголодную диету. Это в заключении так легко!

В этот же день очередной (раз в месяц) обход прокурора. «Хозяин» (начальник тюрьмы) представляет ему нашу камеру:

А это люди вольные! все у нас в камере «химики» да двое ссыльных.

Вопросы к прокурору будут?

Вопрос у всех один: когда отправят дальше? Большинство здесь кантуется уже три недели. Нам, ссыльным, время в этапе засчитывается в срок из расчета день за три. «Химики» же идут либо из лагерей, либо из зала суда по «химической» амнистии (то есть они действительно «вольные» амнистированные, однако едут этапом, под стражей). И им зачетов нет. Ссыльным они завидуют.

Прокурорский обход развлечение. Никто его всерьез не принимает. По-шутовски ломается начальник тюрьмы, арестанты встречают и провожают прокурора смехом. Это устраивает обе стороны.

22 апреля

Я уже в Свердловске. Хотя я больше не голодающий, но перенести этот перегон мне было не легче, чем предыдущие. Те же набитые «воронки» и вагонзаки, то же выстаивание часами в тюремных боксах. Пока дошло до бани, я уже вконец вымотался и мечтал поскорее добраться до камеры, чтобы лечь.

Камера № 11 на Свердловской пересылке заслуживает описания. Это большой зал, примерно в сто двадцать квадратных метров. Посредине, отступя от стен метра полтора-два, двухъярусный помост-нары; это сооружение имеет метров десять в длину и четыре метра в ширину. Проход только вкруговую, по-за нарами. Остаток площади занят длинным столом со скамьями, а также «туалетом».

Я пробыл в этой камере четыре дня. В это время в ней находилось сто шестьдесят три человека. Как мы там помещались? Днем еще ничего: сидя, человек занимает меньше места. А ночью!.. Лежат на нарах, под нарами, на столе, под столом. Проходов нет лежат в проходах. Впрочем, не лежат: там, где от стены до нар всего полтора метра, не ляжешь в полный рост, а либо свернувшись калачиком, либо сидя спиной к стене, зато ноги вытянуты. Вот такая полусидячая плацкарта досталась и мне. Берегись распрямиться во сне заедешь ногой в рожу спящему под нарами. Береги и сам себя ночью через тебя переступают, на тебя наступают пробирающиеся к туалету (унитазов всего два, и за день всем просто не успеть ими воспользоваться).

На поверки камеру выгоняют в коридор, выстраивают в затылок по трое и пересчитывают. Общие объявления надзиратель делает через рупор, перекрывая постоянно висящие в камере шум, крики, брань. А если кого надо вызвать, то это делается методом «передай по цепи»: «Петров на выход» «Передай Петрову» «Петрова!» «Петрова!» Спишь пинок тебе в бок: «Ты Петров?.. Передай дальше!»

Приносят хлеб. Не зевай! Останешься без пайки. Миски с баландой баландер подает в кормушку по счету. Находятся шустряки: караулят обед у двери, получают первыми, и пока дойдет твоя какая-нибудь сто пятидесятая очередь к кормушке, они уже съели свою баланду и затесались снова среди дружков. Баландер отсчитал: «Сто шестьдесят три!» и захлопнул кормушку. Ты и остальные без обеда.

Еще пуще ног береги обувку: ноги разве что отдавят, а сапоги уведут запросто, и с концами. И не только сапоги, а любую «вольную» тряпку с тебя пытаются содрать, украсть, обменять на лагерное рванье. Сначала подъезжают «по-хорошему»: «Земляк, махнемся!» и тебе всерьез предлагают сменять свитер или

приличный костюм на рваный лагерный бушлат. Идут уговоры, намеки. Устоял? Уснешь пропало все, и сменки тебе уже не дадут. Мой свитер и сапоги (импортные!) вызывали особенный интерес, и ко мне тоже подъезжали «по-хорошему». А ночью приходилось дремать вполглаза, оберегая свое имущество. Раздевшись, я подложил свитер под спину, сапоги под ноги не спать же в них! Рядом уселась компания с картами, галдят, но мне, глухому, это не мешает. Сквозь дрему чувствую кто-то сапог подергивает: дернет и передышка, потом снова. Я чуть приоткрыл глаза, вижу, парень из картежников потихоньку тянет у меня сапоги из-под ног. Я одну ногу снял с сапога, задрал ее на стояк нар, будто во сне, а сам жду, когда он, голубчик, рванет их тут я и уроню ногу ему на шею. Но он с сомнением переводит взгляд с сапог на поднятую ногу, потом на мою физиономию сплю ли? переглядывается с остальными и уходит к столу. За ним и компания. Ну и слава Богу, не хватало мне драки. Эти-то парни «шестерки», работают на паханов (их в камере два, оба борцовского вида малые лет по двадцать пять-двадцать семь, сначала обрабатывают новичка уговорами, а потом сдают «шестеркам»). После этого случая меня оставили в покое угадали мой лагерный опыт, что ли? А ведь могли запросто обобрать, сил на драку у меня не было. Но эта шпана открыто отнять все же не решается [3].

В камере № 11 и лагерники, и «химики», и ссыльные. «Химиков» больше всего, как раз в марте прошла очередная «химическая» амнистия, и через Свердловск в Тюменскую область шел этап за этапом. А ссыльные (в основном алиментщики: «За что попал?» «За золотые яйца!») и поселенцы отправляются главным образом в Иркутскую область, на трассу БАМ.

По всей длинной стене камеры арестанты выцарапали этапный маршрут от Москвы до Владивостока. Не хуже, чем на рекламе международного туризма, выведены все изгибы железной дороги «от края и до края». Обозначены все пересылки, сколько ехать от «вокзала» до «вокзала» (вагонзаком, конечно, фирменным гулаговским экспрессом). И на север от основной магистрали, где пунктиром, а где сплошной линией выцарапан БАМ «стройка века» не обойдется без зэка.

Не знаю, много ли таких камер, как одиннадцатая, в Свердловске. Местные арестанты хвастаются, что в этой тюрьме одновременно содержится от двадцати пяти до тридцати тысяч заключенных; может, и так. Официальных данных нет, они засекречены. Я могу сказать только одно, то, что видел своими глазами: тюрьмы набиты битком, переполнены, и в основном молодежью. Официальная информация сообщает нам о

сокращении преступности откуда же берутся эти тысячи и тысячи этапируемых от Подмосковья до Тихого океана? Сколько их на самом деле? Как необходима настоящая, подлинная информация, с цифрами, а не с голословными успокоительными фразами. Можно предположить, что нефальсифицированные данные о преступности насторожили бы нашу общественность; еще большее беспокойство должен бы вызвать рост преступности несовершеннолетних. «Изнутри» наглядно видна порочность системы «воспитания» людей через тюрьму и лагерь; малолетних она тем более развращает и калечит.

Но голос «изнутри» (из тюрьмы, лагеря, с поселения) не слышен общественности. А «снаружи» ей не видно государственная тайна.

23 апреля

Объявили этап на Иркутск восемьдесят шесть человек, и среди них я. Слава Богу, прямой этап, минуя Новосибирскую пересылку! Ночь все мы, восемьдесят шесть, провели в этапной камере, где места на тридцать человек от силы. До утра просидел у стены на корточках, а утром всех обратно, в одиннадцатую камеру. Нас узнают и встречают дружным хохотом. За сутки из камеры ушло на этап человек шестьдесят, но столько же принято с нового этапа, просторнее не стало.

Я забыл сказать, что такая формальность, как выдача арестанту матраца, в Свердловске соблюдается неукоснительно (и кто в камере без места, тех матрацы общей грудой свалены на полу). Итак, 22-го я волок матрац в камеру; 25-го опять оттащил и сдал в каптерку. Снова ночь на корточках в этапной камере, и 26-го, наконец-то, в пути. На Новосибирскую пересылку.

Был бы я в таком состоянии на воле лежал бы не поднимаясь. И не в силах был бы подняться. Но прикосновение к земле ГУЛАГа вливает в человека неведомую энергию и ты бредешь, плетешься, бежишь, стоишь стоймя, висишь, зажатый между другими. А куда денешься? «Партия сказала „надо“, комсомол ответил „есть!“»

27 апреля 21 мая

Так я и знал, что если к праздникам не доберусь до места, то недели на две застряну. Этапы прекращаются за несколько дней до праздников, а тут два кряду: Первомай и День Победы. Оба я

провел почти на родине: от Новосибирска до Барабинска четыре часа поездом. И барабинский земляк угостил меня в камере колбасой и огурцом из передачи. Я рискнул взять угощение, хоть и опасался за желудок. Вроде бы сошло; значит, за пищеварение можно не беспокоиться. Голодовка на нем не отразилась. А в остальном время покажет.

В Новосибирске меня настигла вторая за время отсидки амнистия, юбилейная (до нее «химическая»). А в Иркутске догнала «женская» в связи с Международным годом женщины. Естественно, ни одна из них меня не касается: я не женщина, в войне не участвовал, к тому же пятая судимость. Но и никто, никто из политических не будет амнистирован ни участники войны, ни даже женщины. И пятилетнему сыну Нади Светличной и дочке Ирины Калынец еще ждать и ждать своих мам…

На Иркутской пересылке я снова первым делом влип в историю, хоть к этому и не стремился. После нескольких часов стояния на ногах в душном боксе мой попутчик упал на пол, то ли потеряв сознание от духоты, то ли из-за боли его еще в вагонзаке схватил приступ радикулита. Чувствуя, что и сам скоро свалюсь, я пробился к двери и начал методично стучать в нее сапогом. Подошел надзиратель:

Выведу не обрадуешься!

Да выводи, черт с тобой, хуже не будет! И я снова бухаю в дверь прямо в него. Ушел, пришел с дежурным офицером:

Выходи! Почему безобразничаешь? Карцера захотел? На этап не отправим, и тому подобное.

Но все-таки, услышав от меня, что кто-то в боксе потерял сознание, капитан заглянул в глазок и распорядился забрать больного в медчасть, а из остальных половину вывести в другой бокс. При мне надзиратель отпер соседний бокс чудо! Совершенно пустой! Может, и другие в этом коридоре такие же? А нас держали, как кильку в банке, столько часов!

Больной после укола снова был водворен к нам. Он тоже был ссыльный, алиментщик. Вместе мы сидели в Иркутске, вместе ехали до Чуны, вместе нас выпихнули из Чунской милиции с наказом немедленно трудоустроиться. А месяца через три я встретил его в Чуне на улице, несколько даже растерянного:

Кончился мой ссылка! Получил инвалидность, а она освобождает от ссылки.

Моя же только началась еще.

В Чунском отделении милиции на столе у коменданта я увидел сопроводительный формуляр, наклеенный на пакет с моим «делом». Крупным типографским шрифтом вверху набрано:

СКЛОНЕН К САМОУБИЙСТВУ

Неправда! У меня никогда не было мысли покончить с собой. Зачем же эта надпись? Может, чтобы, если голодовка в этапе меня доконает, иметь оправдание: мол, сам себя довел, к тому и стремился?

Формуляр перекрещен по диагонали двумя широкими красными полосами. Знакомый знак, он перекочевал сюда из моего старого лагерного «дела». Его значение: СКЛОНЕН К ПОБЕГУ. Надо же! За арестантом, который тянет голодовку почти два месяца, нужен глаз да глаз: «склонен к побегу». Зато о голодовке в формуляре ни слова.

Выпроваживая нас из милиции на улицу (ночлега нет ищи сам; денег нет перебьешься), комендант напутствует:

Немедленно устраивайтесь на работу!

А направление на работу мне уже выписано на лесозаготовительный комбинат. Здесь я отрабатывал свой надзор в 70-м году, у меня здесь много знакомых. И рабочее место определено подавать вручную к пиле сырой шестиметровый брус. Не всякому здоровому по силам. Для меня это не ново: в Пермских лагерях бригадиру было приказано использовать Марченко на самых тяжелых работах.

Я иду на территорию ЛЗК, и меня не узнают знакомые. Оглядываются на отросшую в этапе черную бороду и гадают: откуда? из лагеря? из больницы? с того света?

Заключение

Если бы кто-то спросил у меня совета, объявлять ли ему голодовку, я бы сказал: «Нет!». В принципе я против голодовки, как и против самоистязания в любой форме. И такое мое отношение не есть результат личного опыта марта-апреля 1975 года. Оно сложилось раньше, я был против голодовки до, после и даже во время своей голодовки. Личный опыт добавил только то, что теперь я на самом деле ощутил и последствия этой губительной акции. Полгода спустя я чувствую себя инвалидом, не способным работать (хотя это не признано врачами в ссылке), и боюсь, не навсегда ли такое состояние.

И все-таки я не могу себя осудить за то, что, поддавшись эмоциям, объявил и долго держал голодовку. Более того, я не зарекаюсь, что в какой-то ситуации не пойду на нее снова. Чувство бессильного протеста, когда тебя держат за горло, может толкнуть на любые крайности. Таким же сильным может оказаться и сочувствие другому человеку, другим людям, доведенным до отчаяния.

Политические голодовки в СССР стали массовым явлением. Известия о них (но не обо всех!) прорываются через колючую проволоку и через тюремные стены. Но, к сожалению, чем больше таких известий, тем менее острой становится реакция на них общественного мнения. Люди воспринимают факт но забывают о его причинах. И не представляют себе его последствий.

Причина голодовки крайняя степень жестокости и бесчеловечности, беззаконие и произвол властей.

Последствия голодовки утрата здоровья, угроза жизни. Я начал голодовку «с воли», держал ее около двух месяцев, через месяц после снятия оказался в домашних условиях и то мое здоровье подорвано. А Валентин Мороз держал голодовку *почти пять месяцев*, начал ее *после трех лет тюрьмы*, закончил в тюрьме же, там он и сейчас. В условиях лагеря держали длительные голодовки инвалид Иван Светличный и другие политзаключенные Пермских лагерей. Политзаключенные женщины в Мордовии несколько раз объявляли голодовки, и после них для «поправки здоровья» заключались в карцер и в БУР!

Помните: голодовки кончились, но жизнь голодавшего в опасности.

Помните: политическая голодовка свидетельство преступного отношения властей СССР к правам своих граждан и к самой их жизни.

Я не берусь что-либо советовать. Но мне кажется, что долг

порядочного человека, гражданина СССР, не оставлять без внимания обстоятельства, которые доводят их соотечественников до такой крайности, как голодовка.

Мне кажется, что международное сотрудничество с советским режимом в области культуры и экономики без активного влияния на его обращение со своими гражданами поощряет его на жестокость и деспотизм. Наличие политзаключенных в стране, а тем более их трагическое положение в наши дни уже не является внутренним делом этой страны. Контакты с жестокими диктатурами понижают нравственный уровень всего человечества. К тому же эти свойства жестокость, бесчеловечность, власть силы имеют тенденцию распространяться по всему миру.

10 октября 1975 года
пос. Чуна, Иркутская область

notes

Примечания

1

Я недоволен своей формулировкой на суде: «Продолжаю голодовку, требуя эмиграции в США». Она искажает суть дела. Добиваюсь эмиграции — это само собой. А голодовка — сама собой.

2

Примечание жены Анатолия Марченко: По-моему, муж хотел одного — милосердия. От него одного ему стало бы легче в эти тяжкие дни, когда он слабел с каждым часом и чувствовал себя совершенно беспомощным. Не конкретной помощи, а милосердия. А почему от врача? А от кого же еще? От надзирателя? От прокурора? На враче белый халат, сумка с красным крестом — устаревшие символы службы милосердия.

3

А в Находке, рассказывал сокамерник, сдирают, не стесняясь. Едва ты вошел в камеру, с нар слышится: «Рубашку забил!», «Брюки забил!» Опомниться не успеешь, а уж на тебе ни того, ни другого, и уже шпана играет на твое барахло в карты.